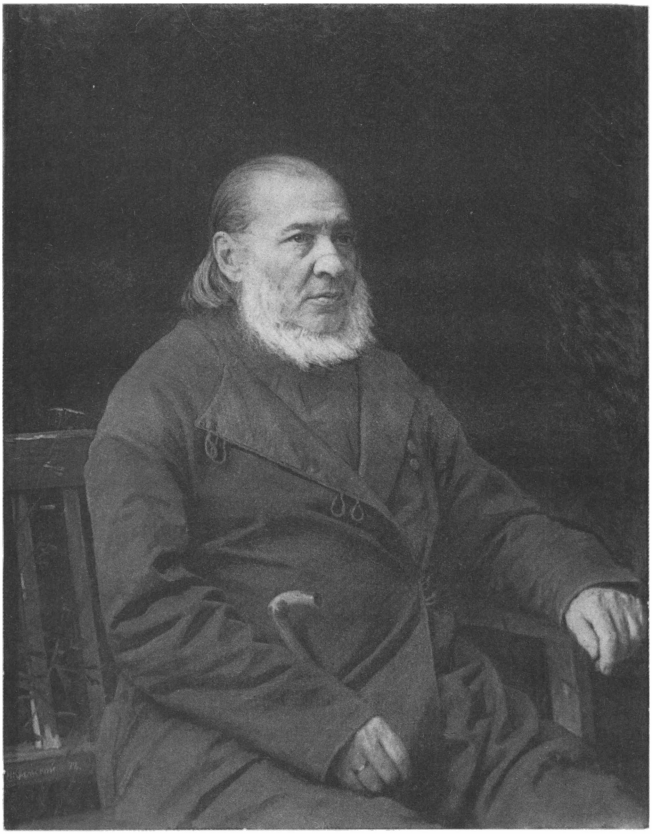
С. Т. Аксаков

Рассказы о родной природе

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"

50 коп.

Ⓐ



С. Т. АКСАКОВ

Портрет работы И. Н. Крамского 1878 года.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

С. Т. Аксаков

Рассказы о родной природе

Рисунки Г. Никольского

Москва
«Детская литература»
1985

Р1
А41

ПЕРЕИЗДАНИЕ

Составление, вступительная статья

и примечания

Н. П. Пахомова

А $\frac{4803010101-040}{М101(03)85}$ 090—85

С. Т. АКСАКОВ — ПЕВЕЦ ПРИРОДЫ

20 сентября старого стиля 1791 года в далекой Уфе у служащего уфимского суда Тимофея Степановича Аксакова родился сын.

Из Уфы, за сотню верст, поскакал верхом нарочный, чтобы оповестить дедушку, Степана Михайловича Аксакова, о радостном событии. Старик, гордившийся древностью своего дворянского рода, с волнением ждал известий от сына, и на его столе лежала родословная, в которую он должен был занести имя новорожденного.

Все домочадцы хорошо помнили, как был раздражен старик при известии о рождении у сына первого ребенка, оказавшегося девочкой.

Властный, своенравный Степан Михайлович Аксаков, владелец села Ново-Аксакова, обширных земель и многочисленных крепостных, желал иметь внука, будущего продолжателя рода.

И вот его ожидания сбылись — нарочный на этот раз привез ему известие о появлении на свет внука, которому дали, как это и было заранее условлено, имя Сергей.

Правда, внук Степана Михайловича Аксакова, став писателем на склоне своих лет, действительно прославил имя дотоле никому не известных Аксаковых, но сделал это совсем не в традициях своего рода.

Не богатством, не чинами и орденами прославился он, а своими сочинениями, то есть как раз тем, к чему его дедушка относился если и не с пренебрежением, то, во всяком случае, с полным равнодушием.

Мало того — внук позволил себе в своих сочинениях коснуться темных сторон жизни деда, нарисовал рукою талантливого художника безотрадную картину дикого произвола помещика-крепостника, проявил симпатию к простому крестьянину.

Аксаков родился болезненным ребенком, и мать, заметив, как хорошо действует на него дорога, постоянно ездила с ним из Уфы в ближайшие

деревни, на берега красивой реки Демы. Так уже первыми впечатлениями маленького Аксакова была природа.

Когда он окреп, мать выбрала ему в дядьки крепостного крестьянина Евсеича. Тот оказался большим любителем природы, и мать разрешила Сереже проводить с ним время (Аксаковы теперь жили в деревне) то на пруду, то на мельнице, то в лесу, то в полях.

Будучи горожанкой, мать Аксакова не любила деревни, была равнодушна к деревенским народным песням, неодобрительно относилась к сближению мальчика с дворовыми, прививая ему любовь к чтению и театральным представлениям.

Наоборот, отец, страстно любивший охоту, простой в обращении со своими крестьянами, ценивший песни, хороводы, увеселительные поездки в лес по грибы и по ягоды, развивал в мальчике привязанность к охоте, склонность к общению с природой и простыми крестьянами.

Ребенку полюбилась эта вольная жизнь, а Евсеич, хорошо знавший повадки птиц и зверей, сумел привить ему редкую наблюдательность и настоящий интерес к природе.

Полные разнообразия картины весны, бурного таяния снега, половодья, валового прилета дичи сменялись картинами лета, покоса, созревания хлебов, жатвы, сбора ягод и грибов, а там подходила осень, лес наряжался в свой пышный осенний наряд, начинался отлет птиц, и маленький Сережа прислушивался к курлыканью отлетающих журавлей, следя за их стаей, строго построенной в треугольник.

Отец, мягкий от природы человек, сумел пробудить в сыне чувство уважения к тяжелому крестьянскому труду. Однажды маленький Аксаков, видя, как это делают другие крестьянские мальчики, попробовал пахать, но тут же почувствовал полную свою непригодность и явное превосходство над ним крестьянских мальчиков.

Мать, женщина широкообразованная для своего времени, привила мальчику любовь к чтению, и он глубоко переживал волнения героев услышанных и прочитанных сказок и повестей.

Это двойное влияние, эта любовь, с одной стороны, к природе и охоте, а с другой — увлечение литературой, помогли Аксакову впоследствии стать замечательным изобразителем родной природы.

Девяти лет Сережу отвезли в Казань и отдали в гимназию пансионером. Привыкший к домашней ласке и деревенскому приволью, здесь, в казенной атмосфере училища, он вдруг заболел тяжелой нервной болезнью.

Евсеич, находившийся при своем воспитаннике, сумел вовремя известить родителей. И вот мать Сережи, несмотря на весеннее бездорожье, едет в Казань и, рискуя жизнью, переходит по тронувшемуся льду Каму, чтобы попасть к заболевшему сыну.

Больного Аксакова увезли в деревню. Там он провел год, окреп и снова вернулся в гимназию.

Тринадцатилетний гимназист Аксаков с другими своими сверстни-

ками неожиданно становится студентом только что открытого Казанского университета.

В университете он увлекается естественной историей, собирает под руководством профессора естественных наук К. Ф. Фукса по всем правилам науки коллекции бабочек. Позднее, незадолго до смерти, он написал об этом увлекательный рассказ «Собирание бабочек».

Побывав в театре и увидев игру приехавшего в Казань на гастроли знаменитого драматического актера Плавильщикова, Аксаков страстно увлекается декламацией, театром, разучивает роли из различных пьес, разыгрывает их в кругу сверстников, выделяясь своим актерским дарованием; увлекшись литературным творчеством, принимает участие в издании рукописных журналов.

Гимназия и университет мало дали ему положительных знаний, и он, по собственному признанию, всю жизнь чувствовал недостаточность своего образования.

Однако «за все, что сохранилось во мне доброго,— вспоминал Аксаков,— считаю себя обязанным гимназии, университету, общественному учению и тому живому началу, которое вынес оттуда. Я убежден, что у того, кто не воспитывался в публичном учебном заведении, остается пробел в жизни, что ему недостает некоторых, не испытанных в юности ощущений, что жизнь его не полна...».

Припомним, что в эти отдаленные времена большинство помещичьих, дворянских детей воспитывалось дома, среди бесчисленных учителей и иностранных гувернеров и гувернанток.

Поэтому весьма знаменательно признание Аксаковым для того времени положительного значения именно общественного воспитания.

Не окончив Казанского университета, Аксаков, по совету одного из профессоров, Г. И. Карташевского, к тому времени переехавшего в Петербург, тоже переезжает в столицу и поступает на службу переводчиком в Комиссию по составлению законов. В Петербурге он знакомится с целым рядом выдающихся актеров того времени, пробует писать стихи, переводит драматические произведения, начинает выступать как театральный критик.

Позднее он знакомится с престарелым поэтом Державиным, который, узнав о мастерском умении Аксакова декламировать, стал приглашать его к себе и слушать в его исполнении свои собственные стихи.

От Державина он услышал о замечательном поэтическом даровании юноши Пушкина, и, как и Пушкина, Державин благословляет Аксакова на литературное поприще.

Вскоре Аксаков уезжает к себе на родину и несколько лет проводит в деревне, занимаясь хозяйством; увлекаясь охотой и рыбной ловлей, он пытливо наблюдает природу, накапливая богатый опыт для своих будущих литературных произведений.

В 1826 году он переезжает в Москву и еще больше сближается с теа-

тральной и литературной средой. В 1834 году Аксаков напечатал небольшой художественный очерк «Буран».

В 1839 году он сближается с Н. В. Гоголем, и это знакомство переходит затем в долголетнюю дружбу, продолжавшуюся до самой смерти великого писателя.

Гоголь с пристальным вниманием слушал рассказы Аксакова о природе степного Заволжья и тамошней жизни и постоянно побуждал его взяться за перо и написать свои воспоминания.

Как бы в исполнение этого обещания появились одна за другой книги Сергея Тимофеевича Аксакова: «Записки об уженье» (1847) и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852).

Гоголь, Некрасов, Тургенев горячо приветствовали эти книги, в которых замечательно изображены картины природы, жизнь рыб и птиц.

Но, помимо исключительной любви к природе, помимо глубокой наблюдательности, книги эти написаны первоклассным художником слова.

Недаром Тургенев в своем письме к Аксакову писал: «...а что касается до слога — мы все у вас должны учиться».

Один из современников Аксакова вспоминал, что «...для С. Т. (Аксакова.— *Н. П.*) было нестерпимо употребить неверное слово или прилагательное, не свойственное предмету, о котором он говорил, и не выражающее его. Он чувствовал неверность выражения, как какую-то обиду, нанесенную самому предмету, и как какую-то неправду в отношении к своему собственному впечатлению и успокаивался только тогда, когда находил настоящее слово».

Необычайная свежесть, простота и глубокая наблюдательность автора как бы вводят читателя — и взрослого и ребенка — в сокровенную жизнь природы, заставляют вслушаться и в ропот весенних ручьев, и в чистые голоса птиц, почувствовать скрытую жизнь леса, отметить удивительные по своей красоте укромные уголки и широкие просторы нашей родины.

Ребенком наблюдает он картину весны и со свежестью непосредственного очевидца уже стариком пишет: «Посинели от воды, надулись овраги, взыграли и сошли. Переполнилась ими река, подняла в пруду лед, вышла из берегов и разлилась по низменным местам: наступила водополь, или водопольe. Пар поднимается от земли: земля отходит, говорит крестьянин».

Вот он с Евсеичем наблюдает за тем, как остановился спешащий на работу крестьянин на мосту через речку и смотрит на движение рыб в реке, и через много лет под пером его оживает словно вчера виденная им картина.

Изумительно тонко и точно подмечено и описано Аксаковым различие птичьих голосов, характерная особенность каждого из них.

Не менее яркие и красочные страницы посвящены и описанию леса.

Рукою взволнованного художника Аксаков рисует нам навсегда запо-

минающийся, проникновенный портрет отдельных древесных пород: «белоствольной, светло-зеленой, веселой» березы, «стройной, кудрявой, круглолистой, сладко-душистой» во время цвета липы, «трепетнолистной» осины.

На всю жизнь запоминается читателю его трогательное описание смерти дерева.

Позднее, в 1856 и в 1858 годах, вышли наиболее значительные произведения Аксакова: «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука».

В этих книгах Аксаков наряду с замечательными картинами природы изобразил неприглядную действительность крепостного права, сумел пробудить в читателе сочувствие к простому крепостному человеку, показал картину тяжелого подневольного труда.

Правда, Аксаков не сумел подняться до гневного обличения крепостнического строя, но произведения его содержали обильный материал для борьбы с крепостничеством.

По выражению одного из критиков, «Сергей Тимофеевич Аксаков кончил свое поприще... высокой эпопеей о Степане Багрове, записками об охоте, уженье, детских годах, в которых во всех являлся великим и простым поэтом природы, и умирающей рукой писал гимн освобождению от векового крепостного рабства великого народа...».

Книги эти написаны в подмосковной усадьбе Абрамцево, в которой с 1843 года Аксаков подолгу живал летом и зимой, часто диктуя свои книги дочерям, так как, страдая болезнью глаз, не мог писать сам.

Но даже больной, стариком, он не прекращал работы.

30 апреля (старого стиля) 1859 года Сергей Тимофеевич Аксаков скончался в Москве. Передовой журнал того времени «Современник», издававшийся Некрасовым и Чернышевским, писал о его кончине: «...Мир праху честного и полезного гражданина! Имя С. Т. Аксакова займет почетную страницу в истории русской литературы».

А значительно позднее Алексей Максимович Горький, вспоминая «Семейную хронику» Аксакова, «Записки охотника» Тургенева, роман Мельникова-Печерского «В лесах» и ряд других книг, писал: «...Эти книги вымыли мою душу, очистив от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности».

В настоящей книге мы предлагаем юному читателю избранные отрывки из произведений Сергея Тимофеевича Аксакова, посвященные родной природе. Любознательному читателю они много расскажут о природе и привьют ему любовь и бережное к ней отношение.

Н. Пахомов

З И М А

БУРАН

...Ни облака на туманном беловатом небе, ни малейшего ветра на снежных равнинах. Красное, но не ясное солнце свернуло с невысокого полдня к недалёкому закату. Жестокий крещенский мороз сковал природу, сжимал, палил, жег все живое. Но человек улаживается с яростью стихий; русский мужик не боится мороза.

Небольшой обоз тянулся по узенькой, как ход крестьянских саней, проселочной неторной дорожке, или, лучше сказать,— следу, будто недавно проложенному по необозримым снежным пустыням.

Пронзительно, противно для непривычного уха скрипели, визжали полозья.

Одетые в дубленые полушубки, тулуп и серые суконные зипуны, нахлобученные башкирскими глухими малахаями, весело бежали мужики за своими возами.

Запушенные инеем, обмерзшие ледяными сосульками, едва разевая рты, из которых белый дым вылетал, как из пушки при выстреле, и не скоро расходился,— они шутили, припрыгивали, боролись, толкали, будто невзначай, друг друга с узенькой тропинки в глубокий сугроб; столкнутый долго барахтался и не скоро вылезал из мягкого снегового пуха на твердую дорогу.

Тут-то сыпались русские остроты, по природе русского человека, всегда одетые в фигуру иронии.

— Не больно болтай,— говорил один другому,— язык обожжешь: вишь зной какой, так и палит!

— Шути, шути,— отвечал другой,— самого-то цыганский пот прошибает!

Все хохотали. Так греются на морозе дух и тело русского мужичка.

Подвигаясь скорым шагом, а под изволок и рысью, обоз поднялся на возвышение и въехал в березовую рощу — единственный лесок на большом степном пространстве.

Чудное, печальное зрелище представляла бедная роща! Как будто ураган или громовые удары тешились над нею долгое время: так все было исковеркано. Молодые деревья, согнутые в разновидные дуги, увязили гибкие вершины свои в сугробах и как будто силились вытащить их. Деревья постарее, пополам изломанные, торчали высокими пнями, а иные, разодранные надвое, лежали, развалясь на обе стороны.

— Что за чертовщина! — сказал молодой мужик,— какой леший исковеркал березник?

— Не леший, а иней,— отвечал старик,— глядь-ка, сколько его нальнуло к сучьям... тяга смертная! Ведь под инеем-то лед толщиной в руку, и все к одной стороне, все к полуночи. Это бывает после оттепелей, случается не каждый год и вещует урожай: хлеба будет вволю.

— Да куда с ним деваться?..— подхватил молодой крестьянин и хотел продолжать, но старик, с некоторого времени внимательно озиравшийся на все стороны, с прищуренным глазом припадавший к дороге, сурово крикнул:

— Полно калякать, ребята. До умета[1] далеко, ночь близка, дело негоже. Бери вожжи, садись погоняй лошадей!..

Безмолвно повиновались строгому голосу старика, умудренного годами опытов, проницательный взор которого провидел в ясности тьму, в тишине бурю.

Все струсили, хотя ничего страшного не видали. Проворно повскакали на воза, крикнули, тронули вожжами мочальные оброти невзнузданных лошадей, и обоз, выбравшись из рощи на покатую равнину, побежал шибкою рысью.

Все по-прежнему казалось ясно на небе и тихо на земле. Солнце склонялось к западу и, косыми лучами скользя по необозримым громадам снегов, одевало их брильянтовой корою, а изуродованная налипнувшим инеем роща, в снеговом и ледяном своем уборе, представляла издали чудные и разновидные обелиски, осыпанные также алмазным блеском.

Все было великолепно... Но стаи тетеревов вылетали с шумом из любимой рощи искать себе ночлега на высоких и открытых местах; но лошади храпели, фыркали, ржали и как будто о чем-то перекликались между собою; но беловатое облако, как голова огромного зверя, выплывало на восточном горизонте неба; но едва заметный, хотя и резкий, ветерок потянул с востока к западу — и, наклонясь к земле, можно было заметить, как все необозримое пространство снеговых полей бежало легкими струйками, текло, шипело каким-то змеиным шипеньем, тихим, но страшным!

Знакомые с бедою обозы знали роковые приметы, торопились доезжать

---

[1] Так называются один или два двора, поселенных на степной дороге для ночевки или кормежки обозов. *(Примеч. Аксакова.)*

до деревень или уметов, сворачивали в сторону, в ближнюю деревню, с прямой дороги, если ночлег был далеко, и не решались на новый переезд даже немногих верст. Но горе неопытным, запоздавшим в таких безлюдных и пустых местах, где нередко, проезжая целые десятки верст, не встретишь жилья человеческого!

В таком именно положении находился незадолго перед сим веселый обоз, состоявший из осьмнадцати подвод и десятерых возчиков. Они ехали с хлебом в Оренбург, где надеялись, продав свои деревенские избытки хотя недорогой ценою, взять из Илецкой Защиты каменной соли, которую иногда удается сбывать весьма выгодно на соседских базарах, если по распутице мало бывает подвозу.

Они выезжали на большую Оренбургскую дорогу, перебивая поперек так называемый *Общий Сырт*, плоское возвышение, которое тянется к Яику, нынешнему Уральску, и по которому лежит известная яицкая казачья дорога. Хотя опытный старик приметил грозу заблаговременно, но переезд был длинен, лошади тощи, на кормежке обоз позамешкался, и беда пришла неминучая...

Быстро поднималось и росло белое облако с востока, и, когда скрылись за горой последние бледные лучи закатившегося солнца, уже огромная снеговая туча заволокла бо́льшую половину неба и посыпала из себя мелкий снежный прах; уже закипели степи снегов; уже в обыкновенном шуме ветра слышался иногда как будто отдаленный плач младенца, а иногда вой голодного волка.

— Поздно, ребята! — закричал старик.— Стой! Нечего гнать и мучить понапрасну лошадей. Поедем шагом. Если не собьемся с дороги, авось бог помилует. Петрович,— сказал он, оборотясь к высокому плотному мужику, также немолодому,— поезжай сзади: твой Гнедко хоть не боек, зато нестомчив, не отстанет, да и ты не задремлешь. Гляди в оба, чтобы кто не отстал да в сторону по дровяной или сенной дороге не отбился, а я поеду передовым!

С большим трудом перетащили стариков воз вперед, а лошадь Петровича, столкнув с дороги в сторону, объехали, потом вытащили ее из сугроба, и Петрович стал задним.

Старик снял рысий малахай, выменянный у башкирского кантонного[1] старшины на жирную молодую лошадь, в осеннюю гололедицу перело-

[1] Канто́н — в старину так называлась единица административного деления в башкирских степях, вместо теперешних округов и районов.

мившую ногу, помолился богу и, сев на воз: «Ну, Серко! — сказал хотя невеселым, но твердым голосом,— выручал ты меня не один раз, послужи и теперь, не сшибись с дороги...» — и обоз поехал шагом.

Снеговая белая туча, огромная как небо, обтянула весь горизонт и последний свет красной, погорелой вечерней зари быстро задернула густою пеленою. Вдруг настала ночь... наступил буран со всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес... Все одел белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи!

Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыхание, ревел, свистал, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось.

Сердце падает у самого неробкого человека, кровь стынет, останавливается от страха, а не от холода, ибо стужа во время буранов значительно уменьшается. Так ужасен вид возмущения зимней северной природы. Человек теряет память, присутствие духа, безумеет... и вот причина гибели многих несчастных жертв.

Долго тащился наш обоз с своими двадцатипудовыми возами. Дорогу заносило, лошади беспрестанно оступались. Люди по большей части шли пешком, увязали по колено в снегу; наконец все выбились из сил; многие лошади пристали.

Старик видел это, и хотя его Серко, которому было всех труднее, ибо он первый прокладывал след, еще бодро вытаскивал ноги,— старик остановил обоз.

— Други,— сказал он, скликнув к себе всех мужиков,— делать нечего. Надо отдаться на волю божью; надо здесь ночевать. Составим возы и распряженных лошадей вместе, кружком. Оглобли свяжем и поднимем вверх, оболочем их кошмами, сядем под ними, как под шалашом, да и станем дожидаться свету божьего и добрых людей. Авось не все замерзнем!

Совет был странен и страшен; но в нем заключалось единственное средство к спасению. По несчастью, в обозе были люди молодые, неопытные. Один из них, у которого лошадь менее других пристала, не захотел послушаться старика.

— Полно, дедушка! — сказал он.— Серко-то у тебя стал, так и нам околевать с тобой? Ты уже пожил на белом свету, тебе все равно; а нам

еще пожить хочется. До умета верст семь, больше не будет. Поедем, ребята! Пусть дедушка останется с теми, у кого лошади совсем стали. Завтра, бог даст, будем живы, воротимся сюда и откопаем их.

Напрасно говорил старик, напрасно доказывал, что Серко истомился менее других; напрасно поддерживал его Петрович и еще двое из мужиков: шестеро остальных на двенадцати подводах пустились далее.

Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь и весь следующий день, так что не было никакой езды. Глубокие овраги делались высокими буграми...

Наконец стало понемногу затихать волнение снежного океана, которое и тогда еще продолжается, когда небо уже блестит безоблачной синевою.

Прошла еще ночь. Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи представляли вид бурного моря, внезапно оледеневшего... Выкатилось солнце на ясный небосклон; заиграли лучи его на волнистых снегах. Тронулись переждавшие буран обозы и всякие проезжие.

По самой этой дороге возвращался обоз порожняком из Оренбурга. Вдруг передний наехал на концы оглобель, торчащих из снега, около которых намело снеговой шиш, похожий на стог сена или на копну хлеба.

Мужики стали разглядывать и приметили, что легкий пар повевал из снега около оглобель. Они смекнули делом; принялись отрывать чем ни попало и отрыли старика; Петровича и двоих их товарищей: все они находились в сонном, беспамятном состоянии, подобном состоянию сурков, спящих зиму в норах своих. Снег около них обтаял, и у них было тепло в сравнении с воздушной температурой.

Их вытащили, положили в сани и воротились в умет, который точно был недалеко.

Свежий, морозный воздух разбудил их; они стали двигаться, раскрыли глаза, но все еще были без памяти, как бы одурелые, без всякого сознания.

В умете, не внося в теплую избу, растерли их снегом, дали выпить вина и потом уложили спать на полати. Проспавшись настоящим сном, они пришли в чувство и остались живы и здоровы.

Шестеро смельчаков, или, лучше сказать, глупцов, послушавшихся молодого удальца, вероятно, скоро сбились с дороги, по обыкновению принялись ее отыскивать, пробуя ногами, не попадется ли в мягком

снегу жесткая полоса, разбрелись в разные стороны, выбились из сил — и все замерзли.

Весною отыскали тела несчастных в разнообразных положениях. Один из них сидел, прислонясь к забору того самого умета...

ОЧЕРК ЗИМНЕГО ДНЯ

В 1813 году с самого Николина дня[1] установились трескучие декабрьские морозы, особенно с зимних поворотов, когда, по народному выражению, солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар.

Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелою. Вода, взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками, а снегу было очень мало, всего на вершок, и неприкрытая земля промерзла на три четверти аршина.

Врывая столбы для постройки рижного сарая, крестьяне говорили, что не запомнят, когда бы так глубоко промерзала земля, и надеялись в будущем году на богатый урожай озимых хлебов.

Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много хворало народу от жестоких простуд и воспалений; солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ветер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались невеяными, так что и деваться с ними было некуда.

С трудом пробивали пешнями и топорами проруби на пруду; лед был толщиною с лишком в аршин, и когда доходили до воды, то она, сжатая тяжелою, ледяною корою, била, как из фонтана, и тогда только успокаивалась, когда широко затопляла прорубь, так что для чищения ее надобно было подмащивать мостки.

Скот грелся постоянно едою, корма выходило втрое против обыкновенного, и как от летней засухи уродилось мало трав и соломы, то крестьяне начинали охать и бояться, что корму, пожалуй, не хватит и до Алексея божьего человека[2]. Стали бить лишнюю скотину, и мясо так поде-

---

[1] Николин день — церковный праздник, справлявшийся 6 декабря по старому стилю.

[2] То есть до середины марта по старому стилю.

шевело, что говядину продавали по три копейки ассигнациями, а баранину по две копейки за фунт.

Достаточные крестьяне уже не обедали без свежинки; но скоро стали замечать, что от мясной пищи прибавляются больные, и стали ее опасаться.

Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней.

Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие как две капли воды один на другой, а как-то невесело, беспокойно становилось на душе, да и народ приуныл.

Болезни, безветрие, бесснежие, и впереди бескормица для скота. Как тут не приуныть? Все молились о снеге, как летом о дожде, и вот наконец пошли косички по небу, мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба, потянул западный ветер, и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла со всех сторон горизонт.

Как будто сделав свое дело, ветер опять утих, и благодатный снег начал прямо, медленно, большими клочьями опускаться на землю.

Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые снежинки, которые, сначала порхая и кружась, опускались на землю.

Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее.

Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной.

Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю.

Хотя мне, как страстному ружейному охотнику, мелкоснежье было выгодно и стрельба тетеревов с подъезда, несмотря на стужу, была удобна и добычлива, но, видя общее уныние и сочувствуя общему желанию, я также радовался снегу.

Я воротился домой, но не в душную комнату, а в сад и с наслаждением ходил по дорожкам, осыпаемый снежными хлопьями. Засветились

огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперек улицы; предметы смешались, утонули в потемневшем воздухе.

Я вошел в дом, но и там долго стоял у окошка, стоял до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок...

«Какая пороша будет завтра! — подумал я.— Если снег к утру перестанет идти, где малик[1] — там и русак...» И охотничьи заботы и мечты овладели моим воображением. Я особенно любил следить русаков, которых множество водилось по горам и оврагам, около хлебных крестьянских гумен.

Я с вечера приготовил все охотничьи припасы и снаряды; несколько раз выбегал посмотреть, идет ли снег, и, убедясь, что он идет по-прежнему, так же сильно и тихо, так же ровно устилая землю, с приятными надеждами лег спать.

Длинна зимняя ночь, и особенно в деревне, где ложатся рано: бока пролежишь, дожидаясь белого дня. Я всегда просыпался часа за два до зари и любил встречать без свечки зимний рассвет. В этот день я проснулся еще ранее и сейчас пошел узнать, что делается на дворе.

На дворе была совершенная тишина. Воздух стал мягок, и, несмотря на двенадцатиградусный мороз, мне показалось тепло. Высыпались снежные тучи, и только изредка какие-то запоздавшие снежинки падали мне на лицо.

В деревне давно проснулась жизнь; во всех избах светились огоньки и топились печи, а на гумнах, при свете пылающей соломы, молотили хлеб. Гул речей и стук цепов с ближних овинов долетал до моего слуха.

Я засмотрелся, заслушался и не скоро воротился в свою теплую комнату. Я сел против окошка на восток и стал дожидаться света; долго нельзя было заметить никакой перемены. Наконец показалась особенная белизна в окнах, побелела изразцовая печка, и обозначился у стены шкаф с книгами, которого до тех пор нельзя было различить.

В другой комнате, дверь в которую была отворена, уже топилась печка. Гудя и потрескивая и похлопывая заслонкой, она освещала дверь и половину горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным светом.

Но белый день вступил в свои права, и освещение от топящейся печки постепенно исчезало. Как хорошо, как сладко было на душе! Спокойно,

---

[1] Мали́к — заячий след на снегу.

тихо и светло! Какие-то неясные, полные неги, теплые мечты наполняли душу...

— Лошади готовы: пора, сударь, ехать! — раздался голос Григория Васильева, моего товарища по охоте и такого же страстного охотника, как я.

Этот голос возвратил меня к действительности. Разлетелись сладкие грезы! Русачьи малики зарябили перед моими глазами. Я поспешно схватил со стены мое любимое ружье, моего неизменного испанца...[1]

ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ ВОЛГУ ЗИМОЙ

На другой день переехали мы по гладкому, как зеркало, льду страшную для меня Волгу. Она даже и в этом виде меня пугала.

В этот год Волга стала очень чисто, *наголо*, как говорится. Снегу было мало, снежных буранов тоже, а потому мало шло по реке льдин и так называемого *сала*, то есть снега, пропитанного водою. Одни морозы сковали поверхность реки, и сквозь прозрачный лед было видно, как бежит вода; как она завертывается кругами и как скачут иногда по ней белые пузыри[2].

Признаюсь, я не мог смотреть без содрогания из моего окошечка на это страшное движение огромной водяной глубины, по которой скакали наши лошади. Вдруг увидел я в стороне, недалеко от наезженной дороги, что-то похожее на длинную прорубь, которая дымилась.

Я пришел в изумление и упросил Парашу посмотреть и растолковать мне. Параша взглянула и со смехом сказала:

— Это полынья. Тут вода не мерзнет. Это Волга дышит, оттого и пар валит; а чтоб ночью кто-нибудь не ввалился, по краям хворост накидан.

Как ни любопытна была для меня эта новость, но я думал только об одном: что мы, того и гляди, провалимся и нырнем под лед. Страх одолел меня, и я прибегнул к обыкновенному моему успокоительному средству, то есть зажмурил глаза и открыл их уже на другом берегу Волги.

---

[1] Неизменного испанца. — Автор имеет в виду ружье работы испанского ружейного мастера.

[2] Редко бывает, чтоб большая река становилась без снега. Я один раз только видел Волгу в таком виде, в каком описывает ее молодой Багров. *(Примеч. Аксакова.)*

ПОДВИГ МАТЕРИ

Моя мать, уезжая в последний раз из Казани, заставила моего дядьку[1] Евсеича побожиться перед образом, что он уведомит ее, если я сделаюсь болен. Он давно порывался исполнить свое обещание и открылся в этом Упадышевскому, но тот постоянно его удерживал; теперь же он решился действовать, не спрашиваясь никого: один из грамотных дядек написал ему письмо, в котором, без всякой осторожности и даже несправедливо, он извещал, что молодой барин болен падучею болезнью и что его отдали в больницу.

Можно себе представить, каким громовым ударом разразилось это письмо над моим отцом и матерью.

Письмо шло довольно долго и пришло в деревню во время совершенной распутицы, о которой около Москвы не могут иметь и понятия; дорога прорывалась на каждом шагу, и во всяком долочке была зажора, то есть снег, насыщенный водою; ехать было почти невозможно. Но мать мою ничто удержать не могло; она выехала тот же день в Казань с своей Парашей и молодым мужем ее Федором; ехала день и ночь на переменных крестьянских, не подкованных лошадях[2], в простых крестьянских санях в одну лошадь; всех саней было четверо: в трех сидело по одному человеку без всякой поклажи, которая вся помещалась на четвертых санях. Только таким образом была какая-нибудь возможность подвигаться шаг за шагом вперед, и то пользуясь морозными утренниками, которые на этот раз продолжались, по счастию, до половины апреля.

В десять дней дотащилась моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здесь вышла уже большая почтовая дорога, крепче уезженная, и потому ехать по ней представлялось более возможности, но зато из Мурзихи надобно было переехать через Каму, чтоб попасть в село Шуран, находящееся, кажется, в восьмидесяти верстах от Казани.

Кама еще не прошла, но надулась и посинела; накануне перенесли

---

[1] Дядька.— Так назывался крепостной слуга, приставленный к молодому барину.

[2] По проселкам, при глубоком снеге, подкованных лошадей в это время года дорога не поднимает. *(Примеч. Аксакова.)*

через нее на руках почту; но в ночь пошел дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ее спутников на другую сторону.

Мать моя принуждена была ночевать в Мурзихе; боясь каждой минуты промедления, она сама ходила из дома в дом по деревне и умоляла добрых людей помочь ей, рассказывала свое горе и предлагала в вознаграждение все, что имела. Нашлись добрые и смелые люди, понимавшие материнское сердце, которые обещали ей, что если дождь в ночь уймется и к утру хоть крошечку подмерзнет, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмут то, что она пожалует им за труды...

На заре шестеро молодцов, рыбаков по промыслу, выросших на Каме и привыкших обходиться с нею во всяких ее видах, каждый с шестом или багром, привязав за спины нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крест, взяли под руки обеих женщин, обутых в мужские сапоги, дали шест Федору, поручив ему тащить *чуман,* то есть широкий лубок, загнутый спереди кверху и привязанный на веревке, взятый на тот случай, что неравно барыня устанет,— и отправились в путь, пустив вперед самого расторопного из своих товарищей для ощупывания дороги.

Дорога лежала вкось, и надобно было пройти около трех верст.

Переход через огромную реку в такое время так страшен, что только привычный человек может совершить его, не теряя бодрости и присутствия духа. Федор и Параша просто ревели, прощались с белым светом и со всеми родными, и в иных местах надобно было силою заставлять их идти вперед; но мать моя с каждым шагом становилась бодрее и даже веселее. Провожатые поглядывали на нее и приветливо потряхивали головами.

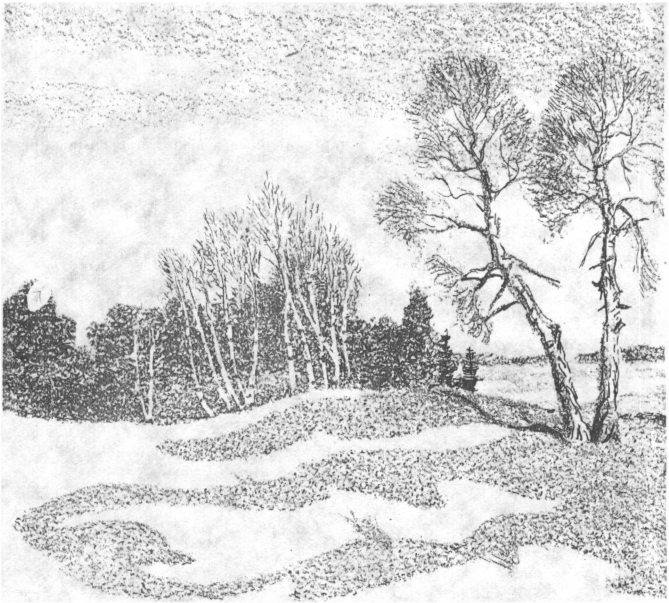
Надобно было обходить полыньи, перебираться по сложенным вместе шестам через трещины; мать моя нигде не хотела сесть на чуман, и только тогда, когда дорога, подошед к противоположной стороне, пошла возле самого берега по мелкому месту, когда вся опасность миновалась, она почувствовала слабость; сейчас постлали на чуман меховое одеяло, положили подушки, мать легла на него, как на постель, и почти лишилась чувств; в таком положении дотащили ее до ямского двора в Шуране.

Мать моя дала сто рублей своим провожатым, то есть половину своих наличных денег, но честные люди не захотели ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнациями).

С изумлением слушая изъявление горячей благодарности и благословения моей матери, они сказали ей на прощание: «Дай вам бог благополучно доехать», и немедленно отправились домой, потому что мешкать было некогда: река прошла на другой день.

Все это подробно рассказала мне Параша.

Из Шурана в двое суток мать моя доехала до Казани, остановилась где-то на постоялом дворе и через полчаса уже была в гимназии.



B E C H A

СПУСК ПРУДА

Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала в права свои, и только в исходе апреля теплота в воздухе, дождь и ветер дружно напали на страшные громады снегов и в одну неделю разрушили их.

Отец всякий день ходил на мельницу наблюдать прибыль воды. Однажды, воротясь неожиданно скоро домой, он сказал мне:

— Просись, Сережа, у матери; сейчас будем спускать воду.

Я побежал проситься и в этот раз счастливее прежних разов: мать отпустила меня, приняв некоторые предосторожности, чтобы я не промочил ног и не простудился.

На длинных крестьянских дрогах доехали мы до мельницы; на плотине дожидались нас крестьяне с разными орудиями.

Русский народ любит смотреть на движение воды, и все население Аксакова[1] сбежалось поглядеть, как будут спускать пруд.

Заводских вешняков[2] с деревянными запорами у нас еще не заводилось, и отверстие в плотине, то есть вешняк, для спуска полой воды ежегодно заваливали наглухо. Пруд надулся и весь посинел, лед поднялся, истрескался и отстал от берегов, материк[3] давно прошел, и вода едва помещалась в каузе[4].

Топорами, пешнями[5] и железными лопатами разрубили мерзлую плотину по обоим краям прошлогоднего вешняка и едва своротили верхний слой в аршин глубиною, как вода хлынула и, не нуждаясь более в человеческой помощи, так успешно принялась за дело, что в полчаса расчистила себе дорогу до самого материка земли. Яростно устремились мутные волны, и в одну минуту образовалась сильная река, которая не уместилась в новенькой канавке и затопила окружные места. Радостными восклицаниями приветствовал народ вырвавшуюся на волю из зимнего плена любимую им стихию; особенно кричали и взвизгивали женщины,—

---

[1] Село Аксаково — имение, где жили родители писателя.

[2] Вешня́к — ворота в плотинах и запрудах, с подъемным заслоном для спуска лишней воды в весеннее половодье.

[3] Матери́к — у реки коренное ее русло, у пруда самая глубокая его часть.

[4] Ка́уз — дверцы, в которые течет вода по лоткам (деревянным трубам) на водяные колеса.

[5] Пешня́ — железный лом с трубкой, в которую вставляется деревянная рукоять.

и все это, мешаясь с шумом круто падающей воды, с треском оседающего и ломающегося льда, представляло полную жизни картину... и если б не прислали из дому сказать, что давно пришла пора обедать, то, кажется, мы с отцом простояли бы тут до вечера.

На другой день поутру мы опять поехали на плотину и нашли уже там другое, также шумное и веселое зрелище.

Первые бурные порывы воды несколько усмирились, пруд значительно сбежал, мелкие глыбы льда разбились о сваи и пронеслись, а большие сели на дно, по обмелевшим местам.

По сухому почти месту, где текла теперь целая река из-под вешняка, были заранее вколочены толстые невысокие колья; к этим кольям, входя по пояс в воду, привязывали или надевали на них петлями морды и хвостуши[1]; рыба, которая скатывалась вниз, увлекаемая стремлением воды, а еще более рыба, поднимавшаяся вверх по реке до самого вешняка, сбиваемая назад силою падающих волн,— попадала в морды и хвостуши.

То и дело мокрые крестьяне, дрожа от холода, но в то же время перекидываясь шутками и громкими восклицаниями, вытаскивали на берег свою добычу, а бабы, старики, старухи, мальчишки и девчонки таскали ее домой в лукошках и решетах, а иногда и просто в подолах своих рубашек.

Выбрав несколько крупных рыб, мы отправились домой. Мать моя была недовольна, что мы так замешкались, и не скоро получил я позволение побывать на мельнице.

В короткое время исчезли все признаки зимы, оделись зеленью кусты и деревья, выросла молодая трава, и весна явилась во всей своей красоте. По-прежнему населился наш сад всякими певчими птичками, зорьками и малиновками, особенно любившими старые смородинные и барбарисовые кусты, опять запели соловьи, и опять стали передразнивать их варакушки.

ВСКРЫТИЕ РЕК[2]

Одно из любимых удовольствий русского народа — смотреть на разлив полой воды.

---

[1] Мо́рды и хвосту́ши — плетенки из ивовых прутьев (верши) для ловли рыбы.

[2] Заглавие настоящего отрывка, как и последующих, дано редакцией.

«Река тронулась...» — передается из уст в уста, и все село, от мала до велика, выхлынет на берег, какова бы ни была погода, и долго, долго стоят пестрые, кое-как одетые толпы, смотрят, любуются, сопровождая каждое движение льда своими предположениями или веселыми возгласами.

Даже в городах, например в Москве, когда тронется мелководная Москва-река, все ее берега и мосты бывают усыпаны народом; одни сменяются другими, и целый день толпы зрителей, перевесившись через перилы мостов, через решетки набережной, глядят — не наглядятся на свою пополневшую Москву-реку.

В самом деле, вид большой тронувшейся реки представляет в это время года не только величественное, но странное и поразительное зрелище.

Около полугода река как будто не существовала: она была продолжением снежных сугробов и дорог, проложенных по их поверхности. По реке ходили, ездили и скакали, как по сухому месту, и почти забыли про ее существование, и вдруг — широкая полоса этого твердого, неподвижного, снежного пространства пошевелилась, откололась и пошла... пошла со всем, что на ней находилось в то время,— с обледеневшими прорубями, навозными кучами, вехами и почерневшими дорогами, со скотом, который случайно бродил по ней, а иногда и с людьми!

Спокойно и стройно, сначала сопровождаясь глухим, но грозным и зловещим шумом и скрипом, плывет снежная, ледяная, бесконечная, громадная змея. Скоро начинает она трескаться и ломаться, и выпираемые синие ледяные глыбы встают на дыбы, как будто сражаясь одна с другою, треща, и сокрушаясь, и продолжая плыть.

Потом льдины становятся мельче, реже, исчезают совсем... река прошла!..

Освобожденная из полугодового плена, мутная вода, постепенно прибывая, переходит края берегов и разливается по лугам.

Такое зрелище представляет река большая; но мелкие реки, очищаясь от льда исподволь, *проходят* незаметно; только в полном своем разливе, обогащенные водою соседних оврагов и лесов, затопив низменные окрестности, образовав острова и протоки там, где их никогда не бывало, веселят они несколько времени взоры деревенских жителей. Зато мельничные проточные пруды и спуск полой воды в вешняки, представляя искусственные водопады, вознаграждают быстротой, шумом и пеной падающих вод скудность их объема.

Вскрытие реки, разлив воды, спуск пруда, заимка[1] — это события в деревенской жизни, о которых не имеют понятия городские жители. В столицах, где лед на улицах еще в марте сколот и свезен, мостовые высохли и облака пыли, при нескольких градусах мороза, отвратительно носятся северным ветром, многие узнают загородную весну только по тому, что в клубах появится за обедом сморчки[2], которых еще не умудрились выращивать в теплицах...

ВОДОПОЛЬЕ

На все мои вопросы отцу и Евсеичу: «Когда же мы поедем в Сергеевку?» — обыкновенно отвечали: «А вот как река пройдет».

И наконец пришел этот желанный день и час!

Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал:

— Белая тронулась!

Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда.

Далеко уже уплыла поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по ней как безумная от одного берега до другого.

Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного, которого рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко.

Река на повороте загибалась за крутой утес — и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная корова. Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые прыжки возбудили не жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими.

Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег.

Лед все еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою. Евсеич, опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне:

---

[1] Заимка — занять заимку, то есть запрудить пруд; запруда.

[2] Сморчки — сорт ранних грибов.

— Пойдем, соколик, в горницу; река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться.

Я очень неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня.

В самом деле, не ближе как через час Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел новую, тоже не виданную мною картину: лед трескался, ломался на отдельные глыбы; вода всплескивалась между ними; они набегали одна на другую, большая и крепкая затопляла слабейшую, а если встречала сильный упор, то поднималась одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду.

Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до наших ушей.

Полюбовавшись несколько времени этим величественным и страшным зрелищем, я воротился к матери и долго, с жаром рассказывал ей все, что видел. Приехал отец из присутствия[1], и я принялся с новым жаром описывать ему, как прошла Белая, и рассказывал ему еще долее, еще горячее, чем матери, потому что он слушал меня как-то охотнее.

С этого дня Белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. Река начала выступать из берегов и затоплять луговую сторону.

Каждый день картина изменялась, и наконец разлив воды, простиравшийся с лишком на восемь верст, слился с облаками. Налево виднелась необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо против нашего дома вся она была точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда до половины затопленными огромными дубами, вязами и осокорями, вышина которых только тогда вполне обозначилась; они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки.

ПРОБУЖДЕНИЕ ПРИРОДЫ

В середине великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное,

---

[1] Присутствие.— Так в старину назывались государственные учреждения.

раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и *страстно любившие* природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлечением предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям[1] рыба, как начнут ловить ее вятелями[2] и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам[3], как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи...

Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства.

Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков.

Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой — часть реки давно растаявшего Бугуруслана с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега.

---

[1] Поло́й — низкое место, заливаемое в половодье водой.

[2] Вя́тель — приспособление для ловли рыбы: мешок или плетенка, натянутая на ивовый обруч.

[3] Сурчи́нами называются в степи бугорки, насыпаемые сурками при рытье своих нор.

Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде.

Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа!

С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью — все вылетело у меня из головы.

О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уже нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню»,— вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия.

Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели.

И вот стала появляться настоящая птица, *дичь* — по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковных уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников...

Сколько волнений, сколько шумной радости!

Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд — и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству.

С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее![1] Наконец Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!».

Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволение у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой

[1] То есть все более волнующими.

и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь.

В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи.

Река выступила из берегов, поняла урёму[1] на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие — низко, часто опускаясь на землю.

Одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем.

Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу.

— Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! — говорил торопливо Евсеич.— Эки стаи! А кряковных-то! батюшки, видимо-невидимо!

— А слышишь ли,— подхватывал мой отец,— ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно... туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то — я уже и не видывал таких стай!

Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило: только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение!.. и все это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже

---

[1] Урёма — лес и кусты, растущие около рек по таким местам, которые заливаются полой водой.

в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей: это был кряковный селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.

Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю привык в том смысле, что уже не приходил от них в исступление.

Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной.

Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами, в воде по горло, к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них, и заключил рассказ словами:

— Как ударил, так и не ворохнулся!

Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, язей, головлей[1], линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье, каждого большого линя, язя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться и как было бы весело вытащить его на берег.

---

[1] Теперь принято писать и произносить: голавль.

ПРИХОД ВЕСНЫ, ПЕНИЕ ВАРАКУШКИ И СОЛОВЬЕВ

Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемою *земляною водою*, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах.

Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не было...

Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плеча[1], озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал.

Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми *сон,* лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочку травы и завернутые в них головки цветов; когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез; когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат; когда в воде движение, на земле шум, в воздухе трепет, когда

[1] Плечá — плечи; особая старинная форма множественного числа.

и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал...

А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи; надо было послушать их докучных криков; надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов; как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах; ка́к муравьиные кучи ожили, зашевелились; как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы; как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда; как клохтала наседка, оберегая крошечных цыпляток, и как коршуны кружились, плавали над ними... О, много было дела и заботы мне!

Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с Суркой[1], а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный, ходил, глядел и молчал, против моего обыкновения.

Обветрел и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах.

— Ну, чего, соколик, ты не видал тут? — говорил он.

Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела; отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной и в грачовую рощу и очень сердился на грачей, что они ощипат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их.

Как был отец доволен, увидя в первый раз медуницу! Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые, сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, услыша издали, также в первый раз, пение варакушки.

— Ну, Сережа,— сказал он мне,— теперь все птички начнут петь: варакушка первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи, и еще веселее будет в Багрове!

Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились де-

---

[1] Су́рка — собачка, спасенная и выкормленная молодым Багровым.

ревья, оделись кусты, запели соловьи — и пели, не уставая, и день и ночь. Днем их пение не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать.

Соловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при закрытых ставнями окнах, свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались с силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать.

ВЕСЕННИЙ СЕВ

Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий раз на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать... По моей усиленной просьбе отец согласился было взять с собою ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи; но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило, а потому отец, хотя уверял, что ружье лежало бы на дрогах незаряженное, оставил его дома.

Я заметил, что ему самому хотелось взять ружье, я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой.

Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы, или *кулиги*, дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный и ароматический запах. На горах зацветала вишня и дикая акация, или чилизник.

Жаворонки так и рассыпались песнями вверху; иногда проносился крик журавлей, вдали заливался звонкими трелями кроншнеп, слышался хриплый голос кречеток, стрепета поднимались с дороги и тут же садились... Не один раз отец говорил: «Жалко, что нет с нами ружья».

Это был особый птичий мир, совсем не похожий на тот, который под горою населял воды и болота,— и он показался мне еще прекраснее.

Тут только, на горе, почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху! Там пахло стоячею водой, тяжелою сыростью, а здесь воздух был сух, ароматен и легок; тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в Багрове.

Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже немолодой, мерно и бодро ходил взад и вперед по десятине[1], рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо.

Издали за ним шли три крестьянина за сохами; запряженные в них лошадки казались мелки и слабы, но они, не останавливаясь и без напряженного усилия, взрывали сошниками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево, разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля. За ними тащились три бороны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками; ими управляли мальчики.

Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело.

Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра. Важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако глубоко поразили меня.

Отец пошел на вспаханную, но еще не заборонованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать, а я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед,— я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем.

Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил:

— Что ты, Сережа?

Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно.

Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день, от восхода до заката солнечного, бро-

---

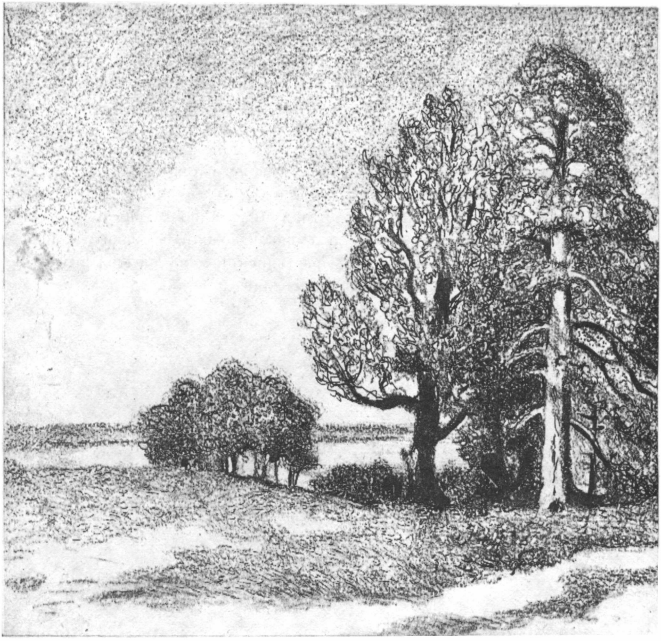
[1] Десятина — старинная мера земли, немногим больше гектара.

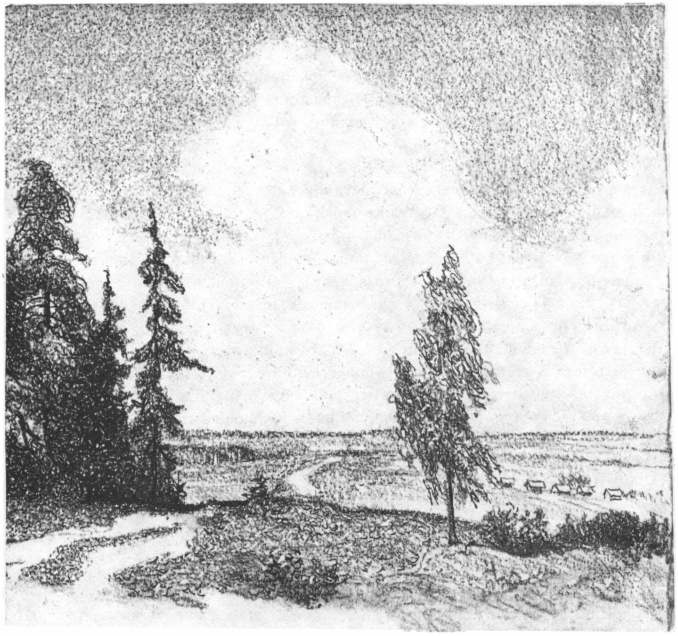
дили взад и вперед, как по песку, по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду,— и мне стало совестно, стыдно, и решился я просить отца и мать, чтоб меня заставили бороновать землю.

Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, а я горячился; наконец она с важностью сказала мне:

— Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бороньба — не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать — я позволяю.

Через несколько времени действительно мне позволили попробовать бороновать землю. Оказалось, что я никуда не годен: не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом.





Λ E T 0

НАЧАЛО ЛЕТА

Между тем лето вступало в права свои. Прошла весна. Соловей допел свои последние песни, да и другие певчие птички почти все перестали петь. Только варакушка еще передразнивала и перевирала голоса и крики всяких птиц, да и та скоро должна была умолкнуть. Одни жаворонки, вися где-то в небе, невидимые для глаз человеческих, рассыпали с высоты свои мелодические трели, оживляя сонную тишину знойного, молчаливого лета. Да, прошла голосистая весна, пора беззаботного веселья, песен, любви! Прошли «летние повороты», то есть 12 июня; поворотило солнышко на зиму, а лето на жары, как говорит русский народ; наступила и для птиц пора деловая, пора неусыпных забот, беспрестанных опасений, инстинктивного самозабвения, самопожертвования, пора родительской любви. Вывелись дети у певчих птичек, надобно их кормить, потом учить летать и ежеминутно беречь от опасных врагов, от хищных птиц и зверей. Песен уже нет, а есть крик; это не песня, а речь: отец и мать беспрестанно окликают, зовут, манят своих глупых детенышей, которые отвечают им жалобным, однообразным писком, разевая голодные рты. Такая перемена, совершившаяся в какие-нибудь две недели, в продолжение которых я не выходил за город, сильно поразила и даже опечалила меня...

СЕНОКОС

Изредка езжал я с отцом в поле на разные работы, видел, как полют яровые хлеба: овсы, полбы[1] и пшеницы; видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда не заметен.

Наконец пришло время сенокоса. Его начали за неделю до Петрова дня[2]. Эта работа, одна из всех крестьянских полевых работ, которой я до тех пор еще не видывал, понравилась мне больше всех.

В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому «По-

[1] Полба — разновидность пшеницы.

[2] То есть к концу июня по старому стилю.

таенному колку»[1], состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип, — колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенною строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум: то какой-то отрывистый и мерный шорох, на мгновение перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил:

— Что это такое?

— А вот увидишь! — отвечал отец улыбаясь.

Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно; когда же мы обогнули его — чудное зрелище поразило мои глаза. Человек сорок крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке: ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами, как можно было догадываться по громкому смеху: расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точения кос деревянными лопаточками, обмазанными глиною с песком, о чем я узнал после.

Когда мы подъехали близко и отец мой сказал обыкновенное приветствие: «Бог помощь!» или «Бог на помощь!» — громкое: «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» — огласило поляну, отозвалось в овраге,— и снова крестьяне продолжали широко, ловко и свободно размахивать косами!

В этой работе было что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела.

Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный приятный ароматический запах!

Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною, и крестьяне говорили: «Что за трава! медведь медведем!»[2].

---

[1] Ко́лок — небольшой островок леса, стоящий отдельно среди полей.

[2] Я никогда не умел удовлетворительно объяснить себе этого выражения, употребляемого также, когда говорилось о густом, высоком несжатом хлебе: как тут пришел медведь! Я думаю, что словом «медведь» выражалась *сила*, то есть плотнина, вышина и вообще добротность травы или хлеба. *(Примеч. Аксакова.)*

По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле. Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того, я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна; на открытых же местах она уже поспевала.

Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха; многие из них хотя еще не покраснели, но были уже мягки и вкусны.

Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня.

Из лесного оврага, на дне которого, тихо журча, бежал маленький родничок, неслось воркованье диких голубей или горлинок, слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги; звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная, желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны...

Вдруг кобчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появление и падал на них, как молния из облаков.

Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу.

Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы.

Долго кобчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованием своей добычи, но наконец поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес.

— А, попалась бедняга! Подцепил, понес в гнездо детей кормить!— раздавались голоса косцов, прерываемые и заглушаемые иногда шарканьем кос и шорохом рядами падающей травы.

Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали.

Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы во всю дорогу; но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтоб рассказать ей

о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке, а если и видела, то как-нибудь мельком или издали.

Я поспешил рассказать все милой моей сестрице, потом Параше, а потом и тетушке с бабушкой.

Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила:

— Да, оно смотреть, точно, приятно, но косить-то больно тяжело в такую жару.

Эти слова заставили меня задуматься.

ПЕРВЫЕ УРОКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верной моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюдениях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородинных и барбарисовых кустах, в собирании червячков, бабочек и разных букашек...

Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горихвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах. Иногда, по неосторожности, мы спугивали ее с гнезда и тогда, бережно раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички.

Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо; тогда мы, увидя, что уже несколько дней птички в гнезде нет и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным, тихим писком, беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червяками... Боже мой, какая была у нас радость!

Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и наконец покидали свое гнездо.

Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах.., а чтоб листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками писчей бумаги.

Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском... мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках, положив туда разных трав и цветов. То же делали мы со всякими червяками, у которых было шестнадцать ножек.

Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда, к великой нашей радости, в хризалиды или куколки.

Это происходило следующим порядком: червячки голые посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали, себя хвостиком к крышке или стенке ящика, а червячки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие белые и прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку.

По прошествии известного, но весьма неравного времени сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя — и висела или лежала куколка: висела угловатая, с рожками, узорчато-серая, бланжевая, даже золотистая хризалида, а лежала всегда темного цвета, настоящая, крошечная, точно спеленанная куколка.

Я знал, что из первых, висячих, хризалид должны были вывестись денные бабочки, а из вторых, лежачих,— ночные; но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризалид в бабочки у нас не было, да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтоб узнать, живы ли они.

У нас вывелась только одна найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая, куколка; из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка — но радость была необыкновенная!

ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ КАМУ В ГРОЗУ

Летнюю вакацию я прожил в деревне так же приятно, как и прошлого года; но на возвратном пути случилось со мной происшествие, которое произвело на меня сильное впечатление и следы которого не из-

гладились до сих пор; я стал гораздо более бояться и теперь боюсь переправляться через большие реки.

Вот как случилось это происшествие: мы приехали в полдень на летний перевоз через Каму, против села Шурана. На берегу дожидались переправы три крестьянских телеги с поклажей и возчиками и десятка полтора баб с кузовами ягод; бабы возвращались домой пешком на противоположный берег Камы. Перевозчиков на перевозе не было: куда разбрелись они, не знаю.

Потолковав несколько времени, крестьяне и мои люди решились сами переправиться через реку, потому что один из крестьян вызвался править кормовым веслом, уверив, что он несколько лет был перевозчиком. Итак, выбрали лучший дощаник, поставили три крестьянские телеги с лошадьми, мою кибитку и всех трех наших лошадей; разумеется, взяли и всех баб с ягодами; мнимый перевозчик стал на корме, двое крестьян, мой кучер и лакей Иван Борисов (молодец и силач, один стоивший десятерых) сели в весла, и мы отчалили от пристани.

Между тем черная туча взмывала на западе и мало-помалу охватывала край горизонта; ее нельзя было не приметить, но все думали: авось пройдет стороной или авось успеем переехать.

Пристань находилась против самого Шурана, и для того, чтоб не быть снесенным быстротою течения сердитой Камы и чтобы угодить прямо на перевоз, надобно было подняться вверх по реке, на шестах, с лишком версту. Это производилось очень медленно, а гроза быстро начала приближаться.

Чтобы ускорить переезд, поднялись вверх только с полверсты, опять сели на весла и, перекрестившись, пустились на перебой поперек реки; но лишь только мы добрались до середины, как туча с неимоверной скоростью обхватила весь горизонт, почерневшее небо еще чернее отразилось в воде, стало темно, и страшная гроза разразилась молнией, громом и внезапной неистовой бурей.

Кормщик наш в испуге бросил кормовое весло и признался, что он совсем не перевозчик и править не умеет; вихрь завертел наш паром, как щепку, и понес вниз по течению; бабы подняли пронзительный вой,— и ужас овладел всеми. Я так испугался, что не мог промолвить ни одного слова и дрожал всем телом.

Вихрем и быстротой течения снесло наш дощаник несколько верст вниз по реке и наконец бросило на песчаную отмель, по счастью, саже-

нях в пятидесяти от противоположного берега. Иван Борисов спрыгнул в воду, она была ему по пояс; он дошел бродом до берега, глубина воды нигде не доставала выше груди.

Он воротился тем же путем на паром, стащил с него одну из наших лошадей посмирнее, посадил меня верхом, велел крепко держаться за гриву и за шею лошади и повел ее в поводу; Евсеич шел подле и поддерживал меня обеими руками. Мутные и огромные волны хлестали через нас и окачивали с головой; по несчастью, Борисов, идя впереди, сбился с того броду, по которому прошел два раза, и попал на более глубокое место; вдруг он нырнул в воду, лошадь моя поплыла, и Евсеич отстал от меня; тут-то я почувствовал такой страх близкой смерти, которого я не забыл до сих пор; каждую минуту я готов был лишиться чувств и едва не захлебнулся.

По счастью, глубина продолжалась не более двух или трех сажен. Борисов плавал мастерски, лошадь моя от него не отставала, и, не выпуская повода из рук, он скоро выплыл на мелкое место и благополучно вывел на берег моего коня, но Евсеич, не умевший хорошо плавать, едва не утонул и насилу выбился на берег.

Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади почти без памяти; пальцы мои закоченели, замерли в гриве моего коня; но я скоро опомнился и невыразимо обрадовался своему спасению.

Евсеич остался со мной, а Борисов пустился опять к дощанику, с которого бабы, с криками и воплями, не расставаясь с кузовьями ягод, побросались в воду; мужики постолкали своих лошадей и телеги, и все кое-как, по отмели удачно отыскав брод помельче, добрались до берега.

Дощаник, облегченный от большей части груза, поднялся, и его начало тащить водою вниз по течению. Вот тут-то пригодилась сила Ивана Борисова: он удерживал дощаник до тех пор, покуда наш кучер столкнул на отмель лошадей и нашу повозку; Борисов перестал держать паром, и его сейчас унесло вниз по реке.

Стоя в воде по пояс, заложили лошадей, и повозка моя, подмочив все в ней находившееся, выехала на берег. Мы сели, мокрые и озябшие, и поскакали в Шуран; там обогрелись, обсушились, напились горячего чаю, и холодная ванна не имела для нас никаких дурных физический последствий.

Но зато напугалась моя душа, и я во всю мою жизнь не мог и не могу смотреть равнодушно на большую реку, даже в тихое время; а во время бури чувствую невольный ужас, которого не в силах преодолеть.

ГРОЗА

Ямские лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчик позвякивал от каждого движения коренной, люди, одетые по-дорожному, с картузами в руках, ждали меня на крыльце... Покуда я переодевался также в дорожное легкое платье, мысль о близком свидании с семейством, особенно с другом моим сестрицей, которая ждала меня с живейшим нетерпением, мелькнула в моей голове и радостно взволновала мое сердце; а запах дегтя и рогожи, которым пахну́ло на меня от кибитки, мгновенно перенес меня в деревню, и стало легко и весело у меня на душе.

Евсеич сел со мной в повозку, Иван Малыш вскочил на козлы, ямщик тряхнул вожжами, свистнул, и тройка полетела.

Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, и великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя.

Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и, когда ямщик, чтобы потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое и неизвестное мне какое-то раздражающее наслаждение. Евсеич мой тоже очень был доволен.

— Что, соколик, каково закатывает? — говорил он улыбаясь.— А ведь лошадки-то, поглядеть — дрянь! Да ты не боишься ли? — продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю.

Мне ужасно стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает.

Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица!

Между тем опускался вечер. Длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки, лошадей и кучера Ивана Малыша, который заливался русскою песнею. Тени бледнели постепенно и наконец смешались с потемневшей землей.

Все это вместе сильно подействовало на меня, я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мною делается.

Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец[1], а Иван Малыш наложил дорожный самоварчик.

Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка: на столе стоял горшок густых, сморщившихся холодных сливок, которые я очень любил.

Евсеич подумал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями.

Лошади были готовы, и мы опять поскакали.

Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича; он не велел шибко ехать, чтоб ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька.

Я, напротив, не спал долго и после восхождения солнца, и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь с своей вечерней и утренней зарею. Не скоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слыхал, как переменили лошадей на станции, и проснулся часов в девять утра, разбуженный громовым ударом.

Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над нашими головами быстро неслось небольшое грозовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны, и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень; глухой, какой-то зловещий шум и свежая влажность неслась оттуда.

— Никак, град? — сказал Евсеич.— Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков.

Казалось, туча шла стороною; но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас; крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной, кибитке. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно.

Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки.

---

[1] Погребе́ц — дорожный ящик с чайной или столовой посудой.

Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти беспрерывною, то и креститься перестали...

Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в белую водяную пыль. Должно признаться, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину.

Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы, и ничтожность, беззащитность человеческой природы так явно изобличалась и чувствовалась мною, что я не мог оставаться спокойным; притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления.

Признаюсь, чувство невыразимо отрадного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее.

Туча провалила с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и Малыша, которые весело посмеивались друг над другом.

Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами; но, подвигаясь, уже рысью, вперед, мы увидели, что там и дождь и град были гораздо сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее: лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весною; крупный град еще не растаял и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами.

Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вытолочены, как будто бы долго пасли на них стадо мелкого скота; не только колосья — солома, казалось, была втоптана в грязь.

Вдобавок ко всему, в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие, без сомнения, пожары от молнии, а в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией.

Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразителен при ясном небе, тишине освеженного воздуха и ярком солнечном освещении.

ПОЛЕВАЯ КЛУБНИКА

Давно уже поспела полевая клубника, лакомиться которою позволяли нам вдоволь. Мать сама была большая охотница до этих ягод...

Вместо прежних бесцельных прогулок мать стала ездить в поле по ягоды, предпочтительно на залежи[1]. Это удовольствие было для меня совершенно неизвестно и сначала очень мне нравилось, но скоро наскучило; все же окружающие меня, и мужчины и женщины, постоянно занимались этим делом очень горячо.

Мы ездили за клубникой целым домом, так что только повар Макей оставался в своей кухне, но и его отпускали после обеда, и он всегда возвращался уже к вечеру с огромным кузовом чудесной клубники. У всякого была своя посуда: у кого ведро, у кого лукошко, у кого бурак, у кого кузов.

Мать обыкновенно скоро утомлялась собиранием ягод и потому садилась на дроги, выезжала на дорогу и каталась по ней час и более, а потом заезжала за нами; сначала мать каталась одна или с отцом, но через несколько дней я стал проситься, чтоб она брала меня с собою, и потом я уже всегда ездил прогуливаться с нею.

У нас с сестрицей были прекрасные с крышечками берестовые бурачки, испещренные вытисненными на них узорами. Милая моя сестрица не умела брать ягод, то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как ее нянька Параша, всегда очень ласковая и добрая женщина, вытряхивая бурачок, говорила:

— Ну, барышня, опять набрала зеленухи!

И потом наполняла ее бурачок ягодами из своего кузова.

У меня же оказалась претензия, что я умею брать ягоды и что моя клубника лучше Евсеичевой: это, конечно, было несправедливо. Вследствие той же претензии я всегда заявлял, что сестрица не сама брала и что я видел, как Параша насыпала ее бурачок своей клубникой.

По возвращении домой начиналась новая возня с ягодами: в тени от нашего домика рассыпали их на широкий чистый липовый лубок, самые крупные отбирали на варенье, потом для кушанья, потом для сушки; из остальных делали русские и татарские пастилы; русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь

---

[1] З а́ л е ж ь — пахотная земля, покинутая на время вследствие истощения почвы.

рединку, а татарскими — тонкие, как кожа, со всеми ягодными семечками, довольно кислые на вкус.

Эти приготовления занимали меня сначала едва ли не более собирания ягод; но наконец и они мне наскучили.

Более всего любил я смотреть, как мать варила варенье в медных блестящих тазах на тагане, под которым разводился огонь,— может быть, потому, что снимаемые с кипящего таза сахарные пенки большею частью отдавались нам с сестрицей; мы с ней обыкновенно сидели на земле, поджав под себя ноги, нетерпеливо ожидая, когда масса ягод и сахара начнет вздуваться, пузыриться и покрываться беловатою пеленою.

ГРУЗДИ

Лето стояло жаркое и грозное. Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые молнией и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал. Бабушка затепливала свечки перед образами и молилась, а тетушка, боявшаяся грома, зарывалась в свою огромную перину и пуховые подушки. Я порядочно трусил, хотя много читал, что не должно бояться грома; но как же не бояться того, что убивает до смерти? Слухи о разных несчастных случаях беспрестанно до меня доходили.

После грозы, быстро пролетавшей, так было хорошо и свежо, так легко на сердце, что я приходил в восторженное состояние, чувствовал какую-то безумную радость, какое-то шумное веселье; все удивлялись и спрашивали меня о причине,— я сам не понимал ее, а потому и объяснить не мог.

Вследствие таких частых, хотя непродолжительных, перемок[1] необыкновенно много появилось грибов. Слух о груздях, которых уродилось в Потаенном колке *мост мостом,* как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчелами, взволновал тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно *ломать* грузди.

В тот же день, сейчас после обеда, они решились направиться в лес, в сопровождении целой девичьей и многих дворовых женщин.

...Сейчас после обеда начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинных дрог и телега. Все запаслись кузовьями, лукошками и плетеными корзинками из ивовых прутьев. На длинные рос-

[1] Перемо́ки — частые дожди.

пуски[1] и телегу насело столько народу, сколько могло поместиться, а некоторые пошли пешком вперед.

Мать с бабушкой сидели на крыльце, и мы поехали в совершенной тишине; все молчали, но только съехали со двора, как на всех экипажах начался веселый говор, превратившийся потом в громкую болтовню и хохот; когда же отъехали от дому с версту, девушки и женщины запели песни, и сама тетушка им подтягивала.

Все были необыкновенно шутливы и веселы, и мне самому стало очень весело. Я мало слыхал песен, и они привели меня в восхищение, которое до сих пор свежо в моей памяти. Румяная Матреша имела чудесный голос и была *запевалой*...

...Скоро все разбрелись по лесу в разные стороны и скрылись из виду.

Лес точно ожил: везде начали раздаваться разные веселые восклицания, ауканье, звонкий смех и одиночные голоса многих песен; песни Матреши были громче и лучше всех, и я долго различал ее удаляющийся голос.

Евсеич, тетушка и мой отец, от которого я не отставал ни на пядь, ходили по молодому лесу, неподалеку друг от друга. Тетушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала:

— Здесь непременно должны быть грузди, так и пахнет груздями,— и вдруг закричала: — Ах, я наступила на них!

Мы с отцом хотели подойти к ней, но она не допустила нас близко, говоря, что это ее грузди, что она нашла их и что пусть мы ищем другой слой.

Я видел, как она стала на колени и, щупая руками землю под листьями папоротника, вынимала оттуда грузди и клала в свою корзинку. Скоро и мы с отцом нашли гнездо груздей; мы также принялись ощупывать их руками и бережно вынимать из-под пелены прошлогодних, полусгнивших листьев, проросших всякими лесными травами и цветами.

Отец мой с жаром охотника занимался этим делом и особенно любовался молодыми груздями, говоря мне:

— Посмотри, Сережа, какие маленькие груздочки! Осторожно снимай их — они хрупки и ломки!

В самом деле, молоденькие груздочки были как-то очень миловидны и издавали острый запах. Наконец, побродив по лесу часа два, мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назад, к тому месту, где оставили лошадей, а Евсеич принялся громко кричать.

— Пора домой! Собирайтесь все к лошадям!

---

[1] Р о́ с п у с к и — дроги для перевозки клади.

Некоторые голоса ему откликались.

Мы не вдруг нашли свои дроги, или роспуски, и еще долее бы их проискали, если б не заслышали издали фырканья и храпенья лошадей.

Крепко привязанные к молодым дубкам, добрые кони наши терпели страшную пытку от нападения овода, то есть мух, слепней и строки; последняя особенно кусается очень больно, потому что выбирает для своего кусанья места́ на животном, не защищенные волосами. Бедные лошади, искусанные в кровь, беспрестанно трясли головами и гривами, обмахивались хвостами и били копытами в землю, приводя в сотрясение все тело, чтобы сколько-нибудь отогнать своих мучителей.

Форейтор[1], ехавший кучером на телеге, нарочно оставленный обмахивать коней, для чего ему была срезана длинная зеленая ветка, спал преспокойно под тенью дерева. Отец побранил его, а Евсеич погрозил, что скажет старому кучеру Трофиму и что тот ему даром не спустит.

Многие горничные девки, с лукошками, полными груздей, скоро к нам присоединились, а некоторые, видно, зашли далеко. Мы не стали их дожидаться и поехали домой.

Матреша была в числе воротившихся, и потому я упросил посадить ее на наши дроги. Она поместилась на запятках с своим кузовом и дорогой спела нам еще несколько песен, которые слушал я с большим удовольствием.

Мы воротились к самому чаю. Бабушка сидела на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзинки и кузовья Евсеича и Матрены, полные груздей.

Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности; она любила кушать их жаренные в сметане, отварные в рассоле, а всего более соленые. Она долго, с детской радостью, разбирала грузди, откладывала маленькие к маленьким, средние к средним, а большие к большим.

ЗАМЕЧАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ОХОТНИКА БРАТЬ ГРИБЫ

В числе разнообразных охот человеческих имеет свое место и смиренная охота ходить по грибы, или брать грибы. Хотя она не может рав-

---

[1] Форе́йтор — верховой, правящий передними лошадьми при езде цугом, то есть когда лошадей запрягали гуськом.

няться с другими охотами, более оживленными, уже потому, что там приходится иметь дело с живыми творениями, но может соперничать со многими, так сказать, второстепенными охотами, имеющими, впрочем, свои особые интересы. Я даже готов отдать преимущество грибам, потому что их надобно отыскивать — следовательно, можно и не находить; тут примешивается некоторое умение, знание месторождения грибов, знание местности и счастье. Недаром говорит пословица: «Со счастьем хорошо и по грибы ходить»[1]. Тут есть неизвестность, нечаянность, есть удача и неудача, а все это вместе подстрекает охоту в человеке и составляет ее особенный интерес.

Охота ходить по ягоды или за орехами (одна из охот второстепенных) с первого взгляда может показаться сходною с охотою брать грибы, но при ближайшем рассмотрении мы увидим, что последняя имеет большие преимущества. Охотники брать грибы, верно, со мною согласны и с ними-то хочу я побеседовать, им хочу сообщить мои многолетние наблюдения.

Грибы составляют самую питательную, вкусную и здоровую пищу, если они употребляются не в излишестве, не слишком жирно приготовленные, а совершенно прожаренные и уваренные или совершенно просолившиеся. Последнее относится к тем породам грибов, которые солятся сырыми, как-то: грузди, рыжики и другие.

Для горожан грибы лакомство, для народа пища, а в иных местах отрасль дохода.

Гриб — дитя леса. В степи нет грибов, кроме шампиньонов и луговиков, но и те родятся только на земле унавоженной, на выгонах, толоках[2] и дорогах, всегда около жилищ человеческих или скотских.

Всем известное дело, что если посеять и насадить — одним словом, развести и вырастить лес в чистом поле, то непременно начнут родиться в нем грибы, свойственные породам разведенного леса.

Но не в одной тени (как думают многие), бросаемой древесными ветвями, заключается таинственная сила дерев выращать около себя грибы: тень служит первым к тому орудием, это правда; она защищает землю от палящих лучей солнца, производит влажность почвы и даже сырость, которая необходима и для леса и для грибов; но главная при-

---

[1] Эту пословицу я слыхал употребляемую и в обратном содержании: «Без счастья и по грибы нечего ходить». *(Примеч. Аксакова.)*

[2] Толóка — вытоптанное место.

чина их зарождения происходит, как мне кажется, от древесных корней, которые, также, в свою очередь увлажая соседнюю землю, сообщают ей древесные соки, и в них-то, по моему мнению, заключается тайна грибо-рождения.

Это убедительно доказывается тем, что около пней срубленных дерев, производивших в изобилии известные породы грибов под своей живительной тенью, долго продолжают родиться те же самые породы, иногда десять лет и более. Медленно умирая, наконец корни сгниют и высохнут, и грибы перестанут родиться.

Я неоднократно имел случай производить мои наблюдения над пнями дерев, стоявших отдельно на полянах и опушках, где нельзя предполагать влияния других соседних дерев.

В доказательство же, что одной тени и влажности недостаточно для произведения грибов, можно указать на некоторые породы дерев, как, например, на ольху, осокорь, тополь, черемуху и проч., под которыми и около которых настоящие грибы не родятся.

Полная зависимость гриборождения от древесных соков и даже от качества их всего убедительнее доказывается уже тем, что многие деревья производят исключительно им свойственные грибы. Если бы нужны были только сырость, тень и прохлада, то всякие породы грибов родились бы под всякими деревьями.

Народ, признавая вполне влияние дерев на грибы, дал некоторым из них названия, происходящие от названия дерев, как, например, березовик, осиновик, подорешник, дубовик и проч.

Грибы разделяются на употребляемые в пищу и не употребляемые: последние вообще называются поганками; в числе их находятся грибы ядовитые, как-то: дубовик, мухомор и другие. Между поганками есть грибы, которые в иных местах России считают вредными, а в иных местах употребляют в пищу, например: свинухи, или коровьи уши, валуи, моченки, чернухи и проч.; их предварительно отваривают или вымачивают, потом солят и кушают без всякого вреда. Я знал даже человека, который все грибы, кроме дубовиков и мухоморов, считал съедобными и доказывал их безвредность собственным примером и всего своего семейства; он утверждал даже, что так называемые поганки точно так же вкусны, как и другие грибы.

Этому, впрочем, трудно поверить, потому что поганки по большей части не только имеют неприятный цвет и вид, но и пахнут очень противно.

Замечательно, что многие породы грибов съедобных, или хороших, как иногда их называют, имеют как бы соответствующие им грибы *поганки,* несколько похожие на них образованием своим и цветом; еще замечательнее, что когда начнут появляться эти поганки между хорошими грибами, то они начнут пропадать; наконец, слой съедобных грибов проходит, и местом их пребывания совершенно завладевают поганки. Это особенно бывает приметно в тех грибах, которые родятся во множестве слоями, кучками, как, например, в маслениках, рыжиках и белянках.

Всем охотникам известно, что у грибов есть *любимые места,* на которых они непременно каждый год родятся в большем или меньшем изобилии. Без сомнения, этому должны быть естественные причины, но для простого взгляда эта разница поразительна и непостижима.

В лесу довольно частом, где корни и даже ветви одних дерев встречаются с корнями и ветвями других дерев, любимые места, если они и есть, заметить трудно; но в редколесье или на полянах они очевидны и никакому сомнению не подвержены.

У меня есть дубовая роща, в которой находится около двух тысяч старых и молодых дубов; старые в числе более двухсот стоят очень редко между собою на большой сенокосной поляне, и только под некоторыми из них с незапамятных времен родятся во множестве белые грибы, несколько особенного образования и величины, необыкновенной плотнины и крепости и также необыкновенного бронзового или стального цвета, иногда пестрые и глянцевитые, как мрамор. Первое качество, вероятно, происходит от качества сока дубовых корней, а последнее — от действия солнечных лучей, потому что одиночно стоящие высокие дубы дают мало тени. Под другими же дубами... грибов бывает очень мало, а под некоторыми и совсем не бывает.

Есть также у меня в саду и в парке, конечно, более трехсот елей — и только под четырьмя елями родятся рыжики. Местоположение, почва, порода дерев — все одинаково, а между тем вот уже двенадцать лет, как я сам постоянно наблюдаю и каждый год вновь убеждаюсь, что грибы родятся у меня на одних и тех же любимых своих местах, под теми же дубами и елями. Разные породы грибов, родясь около отдельных дерев, представляют замечательную особенность, которая состоит в том, что грибы предпочительно родятся на северной стороне дерева: на восточной и западной — их бывает гораздо меньше, а на южной стороне, особенно в сухое время, грибов почти не бывает.

Такое влияние частей света и солнечного стояния еще очевиднее в породе рыжиков: рыжики красные около одной и той же ели постоянно родятся на север и до половины восточной и западной стороны. Тут, точно по назначенной черте, к югу идут уже рыжики зеленовато-синие, имеющие поверхность шероховатую, как будто засохшую, хотя корень и шляпка гриба в изломе точно так же красны и сочны. Таким образом, окружность дерева разделяется по равным частям; рыжики красные занимают северную сторону, а рыжики зеленоватые — южную; восток же и запад обеими породами делятся пополам; но и тут на южной стороне грибов бывает меньше.

Нет никакого сомнения, что в дождливые, мочливые года, как выражается народ, грибы родятся в большем изобилии, особенно если ненастье сопровождается теплом; но и тут бывают исключения, непонятные простому наблюдателю, которые объяснить может только наука.

Я неоднократно замечал, что, несмотря на сильную теплоту атмосферы, дожди бывают иногда вредные грибам: иногда это вредное действие оказывается медленно и незаметно, а иногда — с поразительной очевидностью и быстротой, особенно на грибах молодых, только что вышедших из земли.

В продолжение последних двенадцати лет я видел четыре раза сильные опустошения, произведенные дождем, выпавшим по-видимому при благоприятных условиях теплоты. Два раза такой дождь сопровождался какою-то сухою мглою, которая пахла противною гарью, а два раза дожди были проливные, сильно промочившие землю и мгновенно смененные солнечным сиянием.

Посещая каждый день, около полудня, все грибородные места моего сада и парка, на которых накануне я оставил множество молодых белых грибов, я был поражен внезапною переменою их вида: более или менее все молодые грибки сморщились и позасохли, а самые маленькие, величиною с горошинку и даже с маленький лесной орех, исчезли, и только какая-то гниловатая пыль, которую и различить было очень трудно, лежала на тех местах, где находились грибные зародыши. Некоторые из грибов, более возмужавших, оправились и достигли своей обыкновенной величины, но уже в каком-то несколько изуродованном виде; прочие же подгнили и свалились.

Такие вредные следствия дождя были замечены и записаны мною каждый раз.

Подобное же действие, но медленно обнаруживающееся, производят иногда изобильные ночные росы, производящие желтоватые пятна даже на траве.

Кстати будет здесь сказать, что существующее в народе поверье, будто замеченный человеком гриб не вырастет, а завянет, по моим наблюдениям совершенно несправедливо. У меня всегда бывает множество замеченных грибов, преимущественно белых, и я беру их в таком возрасте, какой мне понадобится, или оставляю достигать полного своего развития и красоты. Я не стану самоуверенно утверждать, что взгляд человека не может производить магнетического действия на растительное царство, но скажу только, что бесчисленные опыты меня убедили в том, по крайней мере, что *мой* взгляд никогда грибам не был вреден; я даже пробовал слегка дотрагиваться до грибов и освобождать их от листьев и травы, которые иногда мешают грибам расти; я даже отламывал кусочки от их шляпок, а грибы росли по-прежнему. Одно верно: если пошатнуть корень гриба, он завянет и пропадет.

В ненастное время и к осени грибы отдаляются от деревьев и охотнее растут по опушкам и голым горам — *на отскочихе,* как выражается народ,— а в сухую и жаркую погоду грибы жмутся под тень и даже под ветви дерев, особенно елей, которые расстилают свои сучья, как лапы по земле, отчего крестьяне и называют их *лапником* и рубят без пощады и без вреда дереву на всякие свои потребности; они даже утверждают, что ель лучше и скорее достигает строевой величины, если ее *подхолить,* то есть обрубить нижние ветви.

Кроме вредных дождей и рос, грибам вредят, на открытых местах, жаркие лучи полдневного солнца; они прижигают грибные шляпки, и хотя прохлада ночи, роса и перепадающий дождь освежают их, но если прижигание повторяется ежедневно, то грибы засыхают, не достигнув полного возраста.

Продолжительное и постоянное ненастье также, в свою очередь, вредно грибной растительности, особенно в тени, в густой траве и местах глухих: грибы загнивают, плеснеют и погибают. Их очень портят и даже истребляют и живые враги: земляные улитки, или слизни, которые, плотно приклеясь к грибам, точат и поедают шляпки и корни их. В неурожайные, негрибные годы, редко попадается гриб, на котором бы не было двух или трех слизней.

Белки также охотницы до грибов, преимущественно до белых, и часто

тонкие и острые беличьи зубки оставляют дорожчатые следы на изглоданных грибных шляпках.

Но всего более истребляются грибы зарождающимися в них мелкими белыми червячками; в иной год их бывает такое множество, что корень у всякого белого гриба, по наружности крепкий и здоровый, непременно источен внутри и рассыпается, если возьмешь его неосторожно или крепко рукою; по счастью, шляпки грибов уже последние истачиваются червями и нередко остаются здоровыми и нетронутыми при совершенно съеденном внутри корне; удивительно, как получают грибы питательные соки и как могут расти в таком положении?

Существует мнение, что будто бы грибы, особенно после дождя, вырастают в одну ночь: это несправедливо. Правда, что иногда найдешь молодые грибы там, где вчера их не находил, но они были и остались только незамеченными, потому что мало отделялись от земли, скрывались под листьями или в траве. Самые скороспелые, или скорорастущие, грибы, как, например, березовики и сыроежки, достигают полного развития в три дня, а грибы белые — в неделю и более. Всех медленнее растет дубовик, гриб, впрочем, никуда не годный и даже ядовитый, как я уже сказал.

В урожайные, или грибные, года грибы часто попадаются кучками, семьями, даже растут двойчатками, тройчатками и более. Это я говорю о таких породах грибов, которые обыкновенно растут в одиночку, как-то: белые, березовые, осиновые и проч. У меня срисован осиновик, у которого шесть отдельных корней покрыты одною шляпкой. Изобилие грибного семени и земляных соков нередко проявляется в самых странных и уродливых видах. Один раз я нашел сыроежку, из шляпки которой выросла другая сыроежка также со шляпкою; я срисовал эту уродливую редкость. Я также находил не один раз в земле большие куски белогрибного семени — массу, совершенно похожую на корень, величиною даже с человеческую голову.

Порядок появления грибов бывает следующий: как только весною окажутся проталины, то по лесным полянам и вообще по редколесью начнут появляться сморчки — сначала *глухие,* а потом *стройки;* они растут даже под снежною корою, где бежит под ней вода; после сморчков следует промежуток времени с месяц, а при засухе и более, в продолжение которого грибов нет никаких. Потом появляются масленики, березовики, сыроежки и осиновики, потом первые слои груздей, подгруздков и белых грибов; потом следуют лисички и шампиньоны; наконец, идут осенние

грибы: волжанки, белянки, рыжики и опенки. Весь этот порядок иногда нарушается, но всегда зависит от состояния погоды и атмосферических явлений. К этому должно прибавить, что каждая порода грибов появляется слоями два раза или даже три в продолжение лета и осени, покуда частые и сильные морозы, особенно при засухе, не убьют окончательно грибную растительность...

ЗНОЙНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Уженье около полдён в жаркие летние дни производится в таких местах, где густая тень покрывает воду, как-то: под мостами, плотами, нависшим берегом, толстыми пнями и корягами, нередко торчащими в воде, под густым навесом трав, расстилающихся иногда над значительною глубиною. Особенно окуни любят стоять в тени и берут в полдни довольно хорошо; иногда хватит язь и головль даже на мелкопущенную удочку. Но только в проточных прудах, заросших камышами и травами, полдневное уженье имеет настоящее значение. Летом в жаркий день, часов с девяти утра, вся порядочная рыба уйдет из материка и чистых мест разлива в полои, проросшие разными травами и зеленым густым лесом камыша, над которым возвышается уже палочник своими пуховыми темно-коричневыми султанами. В травах и камышах всегда бывают местечки поглубже других, которые никогда не зарастают и которые называются «протоками»...

Я всегда любил и люблю жары нашего кратковременного лета. Пышет знойный полдень. Совершенная тишина. Не колыхнет зеленый, как весенний луг, широкий пруд, затканный травами, точно спит в отлогих берегах своих; камыши стоят неподвижно.

Материк и чистые от трав протоки блестят как зеркала, все остальное пространство воды сквозь проросло разновидными водяными растениями. То ярко-зеленые, то темноцветные листья стелятся по воде, но глубоко ушли корни их в тенистое дно; белые и желтые водяные лилии, цвет лопухов, попросту называемые кувшинчиками, и красные цветочки темной травы, торчащие над длинными вырезными листьями,— разнообразят зеленый ковер, покрывающий поверхность пруда.

Какая роскошь тепла! Какая нега и льгота телу! Как приятна близость воды и возможность освежить ею лицо и голову!

Рыбе также жарко: она как будто сонная стоит под тенью трав. За-

видя лакомую пищу, только на мгновение лениво выплывает она на чистые места, пронзаемые солнечными лучами, хватает добычу и спешит под зеленые свои навесы.

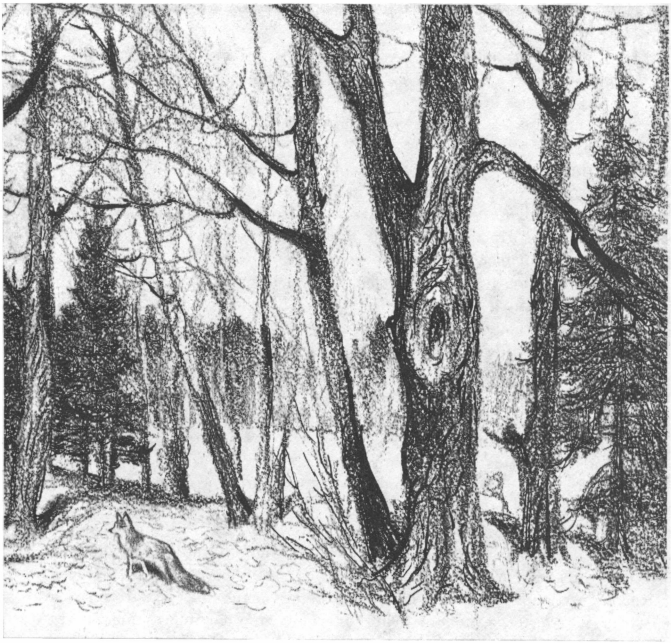
РЫБКИ ГУЛЯЮТ И ПЛЕЩУТСЯ

Почти все молодые рыбки, особенно некоторые из пород не очень крупных, так красивы, или, лучше сказать, так миловидны, резвы и чисты, что народ на юге России употребляет слово *рыбка* как слово ласки, нежности — в похвалу красоте и прелести девической. Оно нередко встречается в народных малороссийских[1] песнях, в которых чувство любви если не так глубоко, не так серьезно, как в старинных песнях великорусских, зато нежнее, эстетичнее, так сказать.

В повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» молодой казак Левко, вызывая из хаты свою милую Галю разными нежными словами, между прочим говорит: «Сердце мое, *рыбка моя,* ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою...» Для великорусского крестьянина это слишком нежно; но и он очень любит смотреть на всякую рыбу в воде, весело мелькающую на поверхности, сверкающую то серебряной, то золотой чешуей своей, то радужными полосами; иногда тихо, незаметно плывущую, иногда неподвижно стоящую в речной глубине!..

Ни один, от старого до малого, не пройдет мимо реки или пруда, не поглядев, как *гуляет вольная рыбка,* и долго, не шевелясь, стоит иногда пешеход-крестьянин, спешивший куда-нибудь за нужным делом, забывает на время свою трудовую жизнь и, наклонясь над синим омутом, пристально смотрит в темную глубь, любуясь на резвые движения рыб, особенно, когда она играет и плещется, как она, всплыв наверх, вдруг, крутым поворотом, погружается в воду, плеснув хвостом и оставя вертящийся круг на поверхности, края которого, постепенно расширяясь, не вдруг сольются с спокойною гладью воды, или как она, одним только краешком спинного пера рассекая поверхность воды,— стрелою пролетит прямо в одну какую-нибудь сторону и следом за ней пробежит длинная струя, которая, разделяясь на две, представляет странную фигуру расходящегося треугольника...

[1] Малороссийский (устаревшее, не употребляющееся теперь слово) — украинский.



ОСЕНЬ

ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ ВОЛГУ ОСЕНЬЮ

На другой день, часов в десять утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная: по временам шел мелкий, осенний дождь и постоянно дул страшный ветер.

Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз.

Спуск с симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее: гора ослизла, тормоза не держали и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком.

Волга... страшно вообразить, что такое была Волга! Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые и бурые около песчаных отмелей и черные посередине реки; она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала; волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень.

По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли *беляки:* так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену.

Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути леденила мою кровь и почти лишала меня сознания.

На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков; сейчас явились несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону.

Между тем, в ожидании этого благополучного часа, стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую завозню[1], поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь

---

[1] Завóзня — большая плоскодонная лодка, заменяющая паром.

взвестись[1] как можно выше. С нами остались Параша и Евсеич. Приготовили и для нас большую косну́ю лодку[2].

Явился знакомый нам хозяин, или перевозчичий староста, как его иногда называли; он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать еще с полчасика. Слава богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга, и сами перевозчики сказали, что «оно, конечно, доставить можно, да будет маленько страховито; лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются».

Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я «дрянь, трусишка!».

— Ну, посмотри на сестру,— продолжал он,— ведь тебе стыдно! Она девочка, а не плачет и не просит, чтоб остались.

Сестрица моя точно не плакала. Но, когда спросили ее: «Ты не боишься? хочешь ехать?» — она отвечала, что боится и ехать не хочет.

Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец все не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени; наконец хозяин сказал:

— Али до утра, ваше благородие? На заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась, и вашу завозню больно далеко снесет. Вот она только что пошла на перебой, а уж теперь ниже пристани. Версты две снесет. Придется им заночевать у Гусиной Луки[3] и завтра навряд им добиться до пристани прежде вас.

Эти слова порешили дело. Но теперь возник вопрос, где ночевать, на чем спать и что есть? Платье, подушки, постели, съестные припасы — все было отправлено на ту сторону, а утренней зари надо дожидаться часов двенадцать.

Хозяин вывел нас из затруднения: он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников на самом берегу, а что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни.

---

[1] Взвестись — то есть подняться вверх по течению реки.

[2] Косна́я лодка — легкая лодка для переездов.

[3] Гусиною Лукою назывался длинный залив позади песчаной косы. *(Примеч. Аксакова.)*

Мы с благодарностью воспользовались его предложением; дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в теплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин: под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец; он пошел к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен и весьма полезен всем нам; но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене.

Чуть брезжилось, когда нас разбудили; даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать!

Из теплого гнездышка идти на сырой и холодный осенний воздух, на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку!..

Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань: красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер.

Дождя не было, но нельзя сказать, чтоб было тихо: резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность.

Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах.

Хозяин поспешно перевел нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив ни мертв.

Мы недолго взводились вверх и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела; но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подыматься носом кверху, то опускаться кормою вниз; я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза.

Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко. Точно, берег был уже близок, но в лодке происходила суматоха, которой я с закрытыми глазами не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным.

Гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один — каким-то длинным ковшом, а другой — шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было ее очень много.

Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов.

— Ах ты, разбойник,— говорил мой отец,— как мог ты подать нам худую лодку! Ведь нас едва не утопил! Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?

Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил:

— Помилуйте, ваше благородие, разве я этому делу рад, разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами. Грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал, новую; только большим господам ее дают. Всего раз десять была в деле. С успеньева дня[1] ее и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я, вестимо, без вины виноват. Помилосердуйте, простите, заставьте за себя век бога молить...— и он повалился в ноги моему отцу.

Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают его вину и жаловаться не будут.

ОСЕНЬ

Я люблю осень даже самую позднюю, но не ту, которую любят все.

Я люблю не морозные, красные, почти от утра до вечера ветреные дни; я люблю теплые, серые, тихие и, пожалуй, дождливые дни.

Мне противна резкость раздражительного сухого воздуха, а мягкая влажность, даже сырость атмосферы мне приятна; от дождя же, разумеется не проливного, всегда можно защититься неудобопромокаемым платьем, зонтиком, ветвями куста или дерева. В это-то время года я люблю удить: ужу даже с большею горячностью и наслаждением, чем весною. Весна обещает много впереди; это начало теплой погоды, это начало уженья, осенью оно на исходе, каждый день прощаешься с ним надолго, на целые шесть месяцев. Для охотников, любящих осень, хочу я поговорить о ней; я знаю многих из них, сочувствующих мне.

Осень, глубокая осень! Серое небо, низкие, тяжелые, влажные облака; голы и прозрачны становятся сады, рощи и леса. Все видно насквозь в самой глухой древесной чаще, куда летом не проникал глаз человеческий.

---

[1] Успеньев день — церковный праздник, справлявшийся 15 августа по старому стилю.

Старые деревья давно облетели, и только молодые отдельные березки сохраняют еще свои увядшие желтоватые листья, блистающие золотом, когда тронут их косые лучи невысокого осеннего солнца.

Ярко выступают сквозь красноватую сеть березовых ветвей вечнозеленые, как будто помолодевшие ели и сосны, освеженные холодным воздухом, мелкими, как пар, дождями и влажными ночными туманами.

Устлана земля сухими, разновидными и разноцветными листьями: мягкими и пухлыми в сырую погоду, так что не слышно шелеста от ног осторожно ступающего охотника, и жесткими, хрупкими в морозы, так что далеко вскакивают птицы и звери от шороха человеческих шагов.

Если тихо в воздухе, то слышны на большом расстоянии осторожные прыжки зайца и белки и всяких лесных зверьков, легко различаемые опытным и чутким ухом зверолова.

Синицы всех родов, не улетающие на зиму, кроме синицы придорожной, которая скрылась уже давно, пододвинулись к жилью человеческому, особенно синица московка, называемая в Петербурге новогородской синицей, в Оренбургской же губернии — беском.

Звонкий, пронзительный ее свист уже часто слышен в доме сквозь затворенные окна. Снегири также выбрались из лесной чащи и появились в садах и огородах, и скрипучее их пение, не лишенное какой-то приятной мелодии, тихо раздается в голых кустах и деревьях.

Еще не улетевшие дрозды, с чоканьем и визгами собравшись в большие стаи, летают в сады и урёмы, куда манят их ягоды бузины, жимолости и еще более красные кисти рябины и калины. Любимые ими ягоды черемухи давно высохли и свалились, но они не пропадут даром: все будут подобраны с земли жадными гостями.

Вот шумно летит станица черных дроздов — и прямо в парк. Одни рассядутся по деревьям, а другие спустятся на землю и распрыгаются во все стороны.

Сначала притихнут часа на два, втихомолку удовлетворяя своему голоду, а потом, насытясь, набив свои зобы, соберутся в кучу, усядутся на нескольких деревьях и примутся петь, потому что это певчие дрозды.

Хорошо поют не все, а, вероятно, старые; иные только взвизгивают; но общий хор очень приятен; изумит и обрадует он того, кто в первый раз его услышит, потому что давно замолкли птичьи голоса и в такую позднюю осень не услышишь прежнего разнообразного пения, а только крики птиц и то большею частью дятлов, снегирей и бесков.

Река приняла особенный вид, как будто изменилась, выпрямилась в своих изгибах, стала гораздо шире, потому что вода видна сквозь голые сучья наклонившихся ольховых ветвей и безлистные прутья береговых кустов, а еще более потому, что пропал от холода водяной цвет и что прибрежные водяные травы, побитые морозом, завяли и опустились на дно.

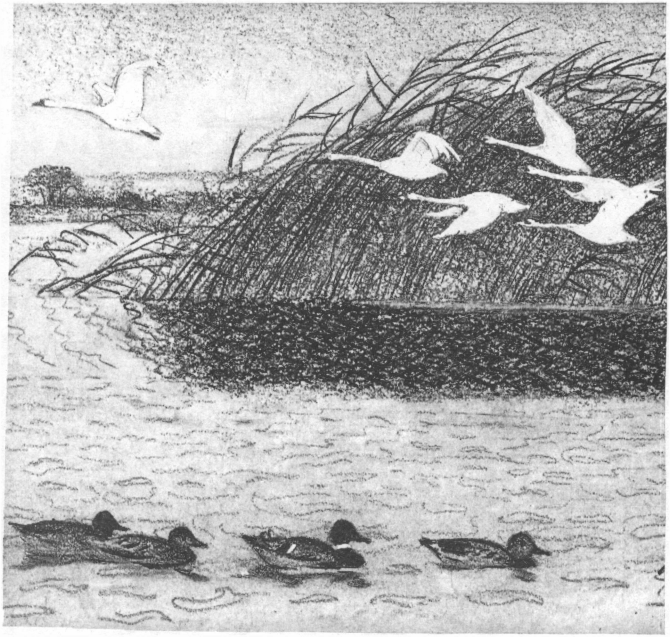
В реках, озерах и прудах, имеющих глинистое и особенно песчаное дно, вода посветлела и стала прозрачна как стекло; но реки и речки припруженные, текущие медленно, получают голубовато-зеленый, неприятный, как будто мутный цвет; впрочем, это оптический обман; вода в них совершенно светла, но дно покрыто осевшею шмарою[1], мелким зеленым мохом или коротеньким водяным шелком — и вода получает зеленоватый цвет от своей подкладки, точно как хрусталь или стекло, подложенное зеленой фольгой кажется зеленым.

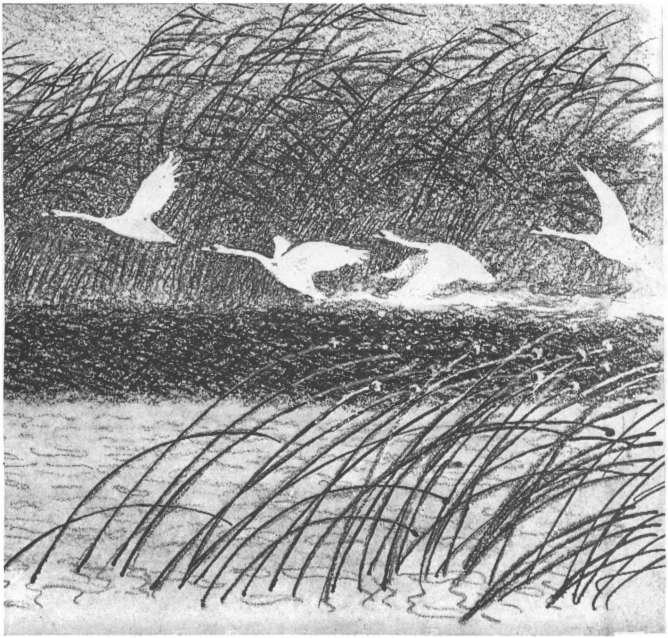
Весной (летом это не заметно) вода мутна сама по себе, да и весеннее водополье покрывает дно новыми слоями ила и земли, на поверхности которых еще не образовался мох; когда же, по слитии полой воды, запрудят пруды, сонные воды таких рек цветут беспрестанно, а цвет, плавая массами и клочьями по водяной поверхности, наполняет в то же время мелкими своими частицами (процессом цветения) всю воду и делает ее густою и мутною, отчего и не заметно отражение зеленого дна.

Вот такую-то осень люблю я не только как охотник, но как страстный любитель природы во всех ее разнообразных изменениях.

---

[1] Шмара́ — зелень, водяной цвет. *(Примеч. Аксакова.)*





ВОДА

ВОДА

Все хорошо в природе, но вода — красота всей природы.

Вода жива; она бежит или волнуется ветром; она движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему.

Разнообразны явления вод, и непонятны законы этого разнообразия.

Из вершины высокой, первозданной горы, сложенной из каменного дикого плитняка, бьет светлая, холодная струя, скачет вниз по уступам горы и, смотря по ее крутизне, образует или множество маленьких водопадов, или одно, много два, большие падения воды.

Если она сжата каменьями, то гнется узкою лентою; если катится с плиты, то падает широким занавесом, если же поверхность горы не камениста и не крута, то вода выроет себе постоянное небольшое русло — и как все живо, зелено и весело вокруг него!

Неизвестно, откуда возьмутся несвойственные горам травы, цветы, кусты и деревья, незабудки, дикий нарцисс, кукушкины слезки, тальник и березки. Нигде поблизости не растут они; но, видно, ветер везде разносит всякие семена, да только не везде они всходят и принимаются.

Иногда на таких горных родниках, падающих с значительной высоты, ставят оренбургские поселяне нехитрые мельницы-колотовки, как их называют, живописно прилепляя их к крутому утесу, как ласточка прилепляет гнездо к каменной стене.

Весь небольшой поток захватывается желобом, или колодою, то есть выдолбленною половинкою толстого дерева, которую плотно упирают в бок горы.

Из колоды струя падает прямо на водяное колесо, и дело в шляпе: ни плотины, ни пруда, ни вешняка, ни кауза..., а колотовка постукивает да мелет себе помаленьку и день и ночь.

Нет мелева — отодвигается колода в сторону, и поток снова летит вниз по крутизне горы, мгновенно собирая в один густой звук раздробленный шум своего падения.

Мельничная амбарушка громоздится иногда очень высоко на длинном неуклюжем срубе или кривых, неровных стойках. Все дрянно, плохо, косо, чуть липит[1]. Нет признака искусной правильной руки человека, ничто не разноречит с природой, а напротив — дополняет ее...

---

[1] Липеть — едва держаться.

Но какие же паровые машины втягивают водяные жилы на горные высоты, тогда как вода, по свойству своему, занимает самое низкое место на земной поверхности? Удовлетворительно не объясняет этого явления и современная наука.

Иногда такой ключ льет из средины горы, а всего чаще из ее подошвы.

Но есть родники совсем другого рода, которые выбиваются из земли в самых низких, болотистых местах и образуют около себя ямки или бассейны с водой, большей или меньшей величины, смотря по местоположению: из них текут *ручьи*.

Если бассейн глубок, то кипение видно только на дне; вода выкидывается из его отверстий, вынося с собою песок и мелкие земляные частицы; прыгая и кружась, но далеко не достигая поверхности, они опускаются и устилают дно родника ровно и гладко.

Но если бассейн мелок относительно силы ключа, то вся вода, с песком, землей и даже мелкими камушками, ворочается со дна доверху, кипит и клокочет, как котел на огне.

И горные ключи и низменные болотные родники бегут ручейками; иные текут скрытно, потаенно, углубясь в землю, спрятавшись в траве и кустах; слышишь, бывало, журчанье, а воды не находишь; подойдешь вплоть, раздвинешь руками чащу кустарника или навес густой травы — пахнёт в разгоревшееся лицо свежею сыростью, и наконец увидишь бегущую во мраке и прохладе струю чистой и холодной воды. Какая находка в жаркий летний день для усталого охотника!

Иногда ручей бежит по открытому месту, по песку и мелкой гальке, извиваясь по ровному лугу или долочку. Он уже не так чист и прозрачен — ветер наносит пыль и всякий сор на его поверхность; не так и холоден — солнечные лучи прогревают сквозь его мелкую воду.

Но случается, что такой ручей *поникает*, то есть уходит в землю и, пробежав полверсты или версту, иногда гораздо более появляется снова на поверхность, и струя его, процеженная и охлажденная землей, катится опять, хотя и ненадолго, чистою и холодною.

Из многих таких ручейков составляются *речки*.

Одна бежит по глубокому лесному оврагу, наливая попадающиеся на пути ямки и рытвины и образуя из них небольшие омуточки.

Сломленные бурею и подмытые весеннею водою деревья местами преграждают ее течение, и, запруженная как будто плотиною, она разли-

вается маленьким прудом, прибывая до тех пор, пока найдет себе боковой выход или, перевысив толщину древесного ствола, начнет переливать чрез него излишнюю, беспрестанно накопляющуюся воду, легким шумом нарушая тишину лесной пустыни.

Всякая птица держится около воды, а рябчики, как говорят охотники, любят, сидя на деревьях, дремать под тихое журчанье лесной речки, в которой завелись уже и кутема[1] и пеструшка[2], и выпрыгивают по вечерним зарям на поверхность воды, ловя толкущихся на ней мошек и сумеречных бабочек.

Мне случалось заходить в такие лесистые, глухие овраги, и не скоро уходил я: там наверху еще жарко; летнее солнце клонится к западу, ярко освещены им до половины нагорные деревья, ветерок звучно перебирает листьями, а здесь, внизу,— густая тень, сумерки, прохлада, тишина.

Другая речка бежит по ровной долине или по широкому лугу.

Извилистые берега ее обрастают местами лозником, вербою и ольхою, а местами одною осокою и другими береговыми травами; дно ее ровно и гладко, и глубина почти везде одинакова.

Около такой небольшой речки, смотря по местности и почве, нередко бывают довольно большие болота, поддерживаемые родниками и поросшие камышом, таловыми кустами и мелкими деревьями.

На таких речках строят, если случаются берега повыше, незатейливые мельницы на один постав, редко на два. Небольшие пруды их, распространяя кругом мокроту и влажность, не только поддерживают прежние, но даже производят новые болота и мочажины, новые приюты и приволья для всякой дичи...

Есть особенный вид рек, которые по объему текущей воды должно причислить к речкам, хотя при первом взгляде они могут показаться гораздо большей величины: это реки *степные*. Они состоят из цепи омутов (по-московски, бочагов) или небольших озер, очень глубоких и необыкновенно прозрачных, соединяющихся между собой *перекатами*, то есть мелкою речкою, иногда даже ручейком.

Всегда поросшие особенною породой мягкого камыша и водяными лопухами, растущими и цветущими на всякой глубине, они бегут на перекатах довольно быстро, но в омутах почти не приметно никакого течения.

---

[1] Кутёма, или ха́риус,— название рыбы.

[2] Пеструшка — народное название форели.

Очень редко по берегам их растет мелкий кустарник.

Если взглянуть на такую реку, извивающуюся по степи, с высокого места, что случается довольно редко, то представится необыкновенное зрелище: точно на длинном бесконечном шнурке, прихотливо перепутанном, нанизаны синие яхонты в зеленой оправе, перенизанные серебряным стеклярусом; текущая вода блестит, как серебро, а неподвижные омуты синеют в зеленых берегах, как яхонты.

Несколько речек, большей или меньшей величины, постепенно впадают одна в другую. Обильнейшая водою по праву, а счастливейшая иногда без всякого права, поглощая в себе имена других, удерживает свое собственное и продолжает течение уже многоводною и сильною *рекою*.

Густая, разнообразная и обширная урема почти обыкновенно разрастается на ее берегах.

Смотря по возвышенной или низменной местности, окрестности такой реки бывают сухи или болотисты. В последнем случае необозримые, бесконечные камыши, проросшие кустами и лесом, с озерами более или менее глубокими, представляют самые благонадежные, просторные и крепкие места для вывода и укрывательства с молодыми всякой птице и преимущественно водяной дичи.

Иногда река на большое пространство протекает дремучими, ненаселенными лесами и получает особенный, уединенный, дикий и вместе важный и торжественный образ. Берега ее не измяты ничьим прикосновением, изредка забредет на них охотник, но не оставит следов своих надолго: сильная растительность, происходящая от избытка влаги, сейчас поднимет смятые травы и цветы.

Свободно и могуче обрастают берега ее широколистною и узкою осокою, аиром, палочником и крупными незабудками; а по всем затишьям — необыкновенной величины темно-зеленые круглые лопухи плавают уединенно на длинных стеблях своих, однообразно двигаясь течением реки.

Водяная птица как будто боится уединения, и утки перестают жить и водиться на реках, когда они слишком далеко углубляются в лесную глушь. Рыба и земноводный зверь остаются их хозяевами.

В пустынном безмолвии и мраке катятся вольные многоводные струи, и только ветви наклонившихся или упавших в воду столетних дерев, противясь течению, производят неумолкаемый, но тихий и глухой ропот.

Плеснется большая щука, переплывет реку порешина (поречина[1]), нырнет выхухоль[2] — и только; но и этот слабый шум скоро поглощается общим безмолвием. Смотрится только в воду разнообразное чернолесье: липа, осина, береза и дуб, кладя то справа, то слева, согласно стоянию солнца, прямые и косые тени свои на поверхность реки.

Из слияния многих таких полноводных рек составляются большие реки *средней величины,* как, например, всем известная Ока, Белая в Оренбургской губернии и множество других; из них-то наконец образуются реки *первой величины,* как Волга и Кама, из которых последняя немногим меньше первой, своей победительницы.

Несмотря на огромное различие в обилии и силе вод, и те и другие реки имеют один уже характер: русло их всегда песчано, всегда углублено; сбывая летом, вода обнажает луговую сторону, и река катит свои волны в широко разметанных желтых песках, перебиваемых косами разноцветной гальки: следовательно, настоящие берега их голы, бесплодны и, по-моему, не представляют ничего приятного, отрадного взору человеческому.

Конечно, нагорная, почти всегда правая по течению, сторона нередко богата живописными, величественными видами, но на них хорошо смотреть издали, на полотне или на бумаге.

У всякого есть своя особенность: моя состоит в том, что я не люблю больших рек — и громадных, утесистых их берегов, и песчаных, печальных отмелей луговой стороны. Мне даже страшно смотреть на необъятную массу воды, так самовластно отделяющую меня от противоположного берега, через которую без опасности нельзя иногда попасть на другую сторону.

Волга же или Кама во время бури — ужасное зрелище! Я не раз видал их в грозе и гневе. Желтые, бурые водяные бугры с белыми гребнями и потопляемые, как щепки, суда живы в моей памяти.

Впрочем, я не стану спорить с любителями величественных и грозных образов и охотно соглашусь, что не способен к принятию грандиозных впечатлений...

Теперь остается поговорить об озерах: они не имеют течения, но тем не менее хороши. Озера бывают четырех родов:

---

[1] Поре́чина — народное название пушного водяного зверька — норки.

[2] Вы́хухоль — пушной водяной зверек.

1) Озера заливные, или просто небольшие ямы и впадины, наливающиеся в весеннее время по займищам рек полою водою, которая затопляет их совершенно; убывая в продолжение летних жаров, они нередко совсем высыхают.

2) Озера большей величины, также заливные или принимающие в себя каким-нибудь протоком полую воду, но имеющие, сверх того, свою собственную поддержку в родниках, открывающихся на дне и в берегах; из таких озер нередко излишек воды бежит ручейком или сочится длинною мокрединою.

Такие озера постоянно имеют чистую, свежую, хотя и не холодную воду. Конечно, летние жары и засухи и в них производят убыль, но они от того не загнивают, кроме обыкновенного летнего цветения воды, которому подвержены все реки без исключения и которого начало приметно даже в самых быстротекущих студеных ключах.

Распространяя вокруг себя влажность и растительность, зеленые берега таких озер иногда опушаются чивою[1] ветлою и ольхою, иногда обрастают и камышами.

3) Озера лесные, имеющие вид мрачный и цвет темный, если берега их не болотисты, а сухи, если крупный лес со всех сторон плотною стеною обступает воду; окруженные же иногда на далекое пространство топкими, даже зыбкими болотами, на которых растет только редкий и мелкий лес, они имеют воду почти обыкновенного цвета.

Темный цвет лесных озер, кроме того, что кажется таким от отражения темных стен высокого леса, происходит существенно от того, что дно озер образуется из перегнивающих ежегодно листьев, с незапамятных времен устилающих всю их поверхность во время осеннего листопада и превращающихся в черный, как уголь, чернозем, оседающий на дно; многие думают, что листья, размокая и разлагаясь в воде, окрашивают ее темноватым цветом.

Наконец, 4) озера степные, всегда значительной величины, самые чистые, светлые, красивые, лучшие из всех озер. Без сомнения, они имеют скрытые на дне родники, и весьма сильные, которые вознаграждают убыль, производимую испарением воды во время летних жаров и засух, убыль, которая в них бывает мало заметна. Присутствие родников в озерах доказывается и тем, что в некоторых местах и на известной глубине вода в них бывает гораздо холоднее.

---

[1] Чи́вый (мест.) — щедрый, обильный.

В Оренбурской губернии много таких озер; мне короче знакомы два чудесные озера, находящиеся в недальнем расстоянии одно от другого, в Белебеевском уезде: *Кандры* и *Каратабынь;* каждое из них имеет по нескольку десятков верст в окружности.

Степные озера отличаются невероятною прозрачностью, превосходящею даже прозрачность омутов степных речек; и в последних вода бывает так чиста, что глубина в четыре и пять аршин кажется не глубже двух аршин; но в озерах Кандры и Каратабынь глубина до трех сажен кажется трех- или четырехаршинною; далее глубь начнет синеть, дна уже не видно, а на глубине шести или семи сажен все становится страшно темно!

Преломление света в водах этих озер до того обманчиво, что во время купанья, идя от берега и постепенно погружаясь в глубину, кажется, идешь на гору и при каждом шаге поднимаешь ногу выше.

Прелестные степные луга, оживляемые близостью огромной массы воды, окружают Кандры; глубина в десять сажен находится ближе к одной, несколько гористой стороне; посередине озера точно всплыл из воды небольшой, возвышенный, лесистый, зеленый островок: приют и место вывода детей для бесчисленных и разнообразных пород чаек.

Две противоположные стороны — ровная степь, а четвертая сторона камышиста, и есть признак (длинная паточина[1] по небольшому долочку), что тут был когда-то проток.

Башкирцы сказывали мне, что старики их помнят, когда этим протоком Кандры соединялось с Каратабынью. Нынче и весной нет этого соединения.

У башкирцев даже есть какая-то легенда насчет будущего соединения этих озер, но я не мог достать ее. Впрочем, прибыль полой воды в степных озерах незначительна.

Болотною и водяною дичью они не богаты; только позднею осенью отлетная птица в больших стаях гостит на них короткое время, как будто на прощанье; зато всякая рыба *бель,* кроме красной, то есть осетра, севрюги, стерляди и проч., водится в степных озерах в изобилии и отличается необыкновенным вкусом.

Нельзя не упомянуть об озерах искусственных — прудах...

Пруды бывают двух родов: проточные и копаные. Первые запру-

---

[1] Па́точина — болотный родник.

жаются на реках, речках и ручьях, а вторые выкапываются предпочтительно на местах мокрых и низменных.

Впрочем, около Москвы, где грунт по преимуществу глиняный, можно выкопать яму где угодно, даже на горе,— снеговая и дождевая вода будет стоять в ней круглый год, как в фаянсовой чашке.

Есть средство устраивать пруды особенным способом, захватив полую воду, текущую обыкновенно весной по какому-нибудь оврагу или долочку, в которых летом не бывает капли воды; в это летнее время перегораживают поперек овраг или долочек — выкопав его, если надобно, поглубже — крепкою плотиною с прочно устроенным спуском, а иногда и без спуска, для стока полой воды; весною она наполнит овраг или выкопанный дол, а излишняя вода пойдет стороною, или через верх, или в поднятые затворы спуска, который запирается наглухо, когда станет сходить водополье.

Такие пруды бывают иногда очень глубоки; их нельзя назвать совершенно стоячими, глухими: хотя один раз в году, а все же вода в них переменяется, но относительно к птице о них не стоит говорить.

Пруды проточные на порядочных реках, поднимающих мельницу от четырех до восьми поставов, с широкими, всегда камышистыми разливами, сквозь проросшие, по мелководью, разными водяными травами и цветами, имеющие в протяжении несколько верст,— вот истинное раздолье для всякой водяной птицы, которая сваливается на такие пруды со всех сторон.

Сытно и безопасно в камышах утиным выводкам всех пород, а также цыплятам речных водяных кур, или лысух.

В камышах не проглотит утенка жадная щука, не унесет цыпленка коршун или скопа, которую называют водяным орлом и которая преимущественно питается рыбою.

Хищной птице нужен свет и простор, а в камыше тесно и темно. Напрасно скопа, балабан (род сокола) вместе с коршунами и канюками по целым часам то плавают в небесах широкими кругами, то неподвижно висят над прудом.

Они слышат пискотню молодых и покрякиванье маток, слышат шелест камыша, даже видят, как колеблются его верхушки от множества пробирающихся в тростнике утят, а нельзя поживиться добычей: «Глаз видит, да зуб неймет!»

Хищные птицы не бросаются за добычей в высокую траву или кусты:

вероятно, по инстинкту, боясь наткнуться на что-нибудь жесткое и острое или опасаясь помять прави́льные перья.

Но если какой-нибудь глупенький, отбившийся от выводка и матери утенок или цыпленок, услыша издали зов ее, вздумает переплыть материк или не заросшую травой заводь, то гибель ждет его и сверху и снизу: в воде широкое горло щуки или сома, на поверхности — длинные когти хищных птиц.

Вот как разнообразны еще не во всех видах и не в подробности описанные мною воды. На них-то плавает, ныряет, живет водяная дичь.

ЛЕБЕДЬ

Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо назван царем всей водяной, или водоплавающей, птицы.

Белый как снег, с блестящими, прозрачными небольшими глазами, с черным носом и черными лапами, с длинною, гибкою и красивою шеею, он невыразимо прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей по темно-синей гладкой поверхности воды.

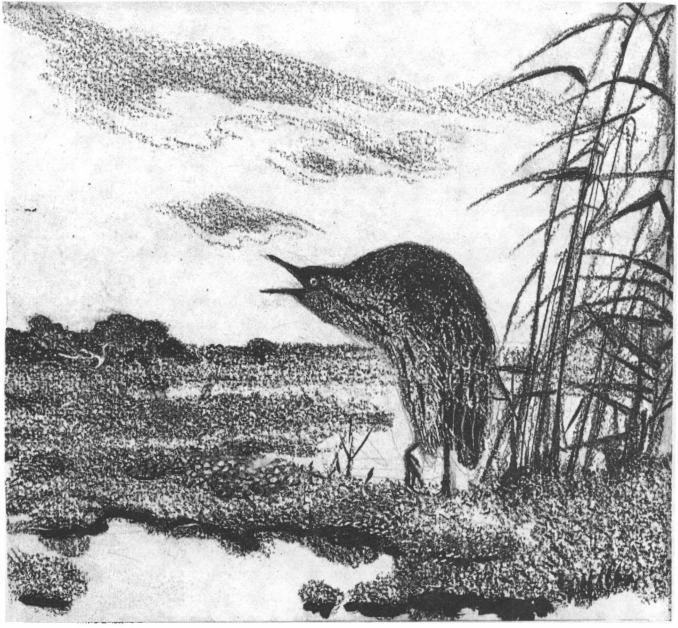
Но и все его движения исполнены прелести: начнет ли он пить и, зачерпнув носом воды, поднимет голову вверх и вытянет шею; начнет ли купаться, далеко забрасывая брызги воды, скатывающейся с его пушистого тела; начнет ли потом охорашиваться, легко и свободно закинув дугою назад свою белоснежную шею, поправляя и чистя носом на спине, боках и в хвосте смятые или замаранные перья; распустит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой парус, и начнет также носом перебирать в нем каждое перо, проветривая и суша его на солнце,— все живописно и великолепно в нем...

Про силу лебедя рассказывают чудеса: говорят, что он ударом крыла убивает до смерти собаку, если она приблизится к нему, легко раненному, или бросится на его детей... Пенья лебедей, разумеется, никто не слыхал, но зычный крик их и глухое гоготанье, весьма отличное от гусиного, слыхали все охотники, и в том числе я сам...

Лебеди легко делаются ручными.

ГУСЬ

Серым гусем называют его старинные русские песни, и называют верно. Дикий гусь точно сер и отличается от гусыни только тем, что спина его потемнее, грудь, или зоб, покрыта черноватыми пятнышками, и сам он несколько поменьше... Весною, пролетом, гуси показываются очень рано; еще везде, бывало, лежит снег, пруды не начинали таять, а стаи гусей вдоль по течению реки летят да летят в вышине, прямо на север. Стаи всегда пролетают очень высоко, но гуси парами или в одиночку летят гораздо ниже... Когда же время сделается теплее, оттают поля, разольются полые воды, стаи гусей летят гораздо ниже и спускаются на привольных местах: отдохнуть, поесть и поплавать. Пища гусей преимущественно состоит из мелкой молодой травы, семян растений и хлебных зерен. Гуси очень жадны. Когда корм приволен, то они до того обжираются, что не могут ходить: зоб перетягивает все тело; даже с трудом могут летать. Весною гуси бывают очень сторожки и редко подпускают охотника с подъезда и еще реже с подхода.



БОЛОТА

БОЛОТА

Болота бывают *чистые луговые*. Этим именем называются все влажные, потные места, не кочковатые, а поросшие чемерицей и небольшими редкими кустами, мокрые только весной и осенью или во время продолжительного ненастья. Покрытые сочною и густою травою, они представляют изобильные сенокосы и вообще называются лугами; они составляют иногда, так сказать, окрестность, опушку настоящих мокрых болот и почти всегда сопровождают течение рек по черноземной почве, особенно по низменным местам, заливаемым полою водою.

Сухими болотами называют места, носящие на себе все признаки некогда существовавших топких болот, как-то: кочки, достигающие иногда огромной величины, следы иссохших паточин, родниковых ям и разные породы болотных трав, уже перемешанных с полевыми. Такие места по большей части зарастают кустами и отбиваются от сенокоса. Весьма обыкновенное дело, что болота мокрые и топкие превращаются в сухие оттого, что поникают ключи или высыхают головы родников; но я видал на своем веку и противоположные примеры: болота сухие, в продолжение нескольких десятков лет всегда представлявшие какой-то печальный вид, превращались опять в мокрые и топкие. Это по большей части случается в такие годы, когда дождливая, продолжительная осень до того насытит землю, что она уже не принимает в себя влаги, когда внезапно последуют затем зимние морозы, выпадут необыкновенно глубокие снега, и все это повершится дождливою, дружною весною. Тогда-то вновь открываются давно иссякшие жилы родников, вся окрестность просачивается подступившею из-под земли влагою, и оживает мертвое болото; в один год пропадут полевые травы, и в несколько лет посохнут кусты и деревья. В такие *мочливые года*, как говорят крестьяне, не только иссякшие ключи получают прежнее течение, но нередко открываются родники и образуются около них болота там, где их никогда не бывало.

Болота *мокрые* и кочковатые, всегда поддерживаемые подземными ключами, изредка поросшие таловыми кустиками, постоянно сохраняя влажность почвы, уже не представляют богатых сенокосов, потому что изобилие болотных трав и излишняя мокрота мешают произрастанию обыкновенных луговых трав. Везде видно преобладание чемерики, или чемерицы, пупавок и трилистника. Мягкая поверхность земли, уступая

ноге человека, не глубоко тонет под ней: сейчас слышен твердый грунт. Ходить по таким болотам не вязко, не топко и не тяжело. Это самые обширные и лучшие болота для охоты; они нередко пересекаются *текучими,* а не *стоячими* в ямках родниками.

Болота *топкие* с грязями, паточинами или ржавчинами и стоячими родниками имеют уже совсем другой характер: трав луговых там нет, да и болотная растительность скудна. Местами там виднеются круглые пятна или длинные косы жидкой грязи и довольно большие лужи, иногда красноватые: в последнем случае болота называются ржавыми или просто ржавчинами. Красноватый цвет воды и грязи показывает несомненное присутствие железной руды. Кочек на них бывает мало, а на грязях и ржавчинах не растет почти и трава; зато нередко обрастают они кругом гривами густого, мелкого камыша, хвоща и необыкновенно высокой осоки. Поверхность воды на ржавых лужах подернута тонкою пленою, которая отражается на солнце железно-синеватым блеском. Водяные пауки любят бегать по ней взад и вперед на своих длинных, дугообразных ногах. Вода в родниковых ямках, которые иногда бывают довольно глубоки, хотя не имеет видимого течения, а только сочится, остается и летом свежею и холодною, особенно если зачерпнуть ее поглубже. Истомленный зноем охотник, распахнув насоренную поверхность воды кожаным картузом своим, может утолить жажду и прохладить раскаленную солнцем голову... беды никакой не будет: он пойдет опять ходить по болотам и разгорится пуще прежнего. Но ходьба эта очень трудна, особенно около грязей и паточин: там иногда можно увязнуть по пояс и не скоро выбиться на более твердое место. Причина, отчего происходят в болотах топкие грязи и паточины, состоит в следующем: сквозь тину и верхний слой почвы протачивается, неприметно для человеческого глаза, тонкая струйка родниковой воды. Струйка эта так мала, что не может составить никакого течения и только образует около себя маленькие лужицы мутной, иногда красноватой воды, от которой, однако, вымокают даже и болотные растения: торф обнажается и превращается в топкую, глубокую грязь. Она засыхает сверху, во время сильных жаров и засух даже трескается и может жестоко обмануть еще неопытного охотника: если он, обрадовавшись, по-видимому, сухому месту, прыгнет на него с кочки, то выкарабкается не скоро.

Хотя камыш и тростник растут иногда в обыкновенных мокрых болотах и даже в топких, на местах, которые потверже, как я уже говорил,

но есть собственно *камышистые,* или *тростниковые,* болота, принадлежащие только по почве к роду болот мокрых. Они покрыты мелкими кочками и отдельными кустиками камыша, именно на них или около них растущими. Травы на таких болотах бывает очень мало, и хотя они грязноваты, но не топки, и мелкий скот может бродить по ним без всякого затруднения и опасности завязнуть, что часто случается в болотах топких.

Вообще в болотах, больше или меньше, растут разные породы мхов, но есть собственно *моховые* болота, непременно поросшие лесом и преимущественно еловым; они же называются и *глухими.* На черноземной почве болота такого рода — редкость, почему и в Оренбургской губернии их очень мало, но зато Московская губерния, кроме южной стороны, изобилует ими. Они не топки, но мягки и пухлы. В дождливую погоду бывают очень мокры, а в засуху на полях или там, где лес редок, иногда совершенно высыхают, ибо не поддерживаются ни подземными ключами, ни открытыми родниками, ни паточинами. Лесные, моховые болота обязаны своим происхождением близости глиняного грунта, не пропускающего сквозь себя дождевую воду: она стоит на нем, как на глиняном блюде, и верхний пласт земли, плотно лежащий на глине, постоянно размокая, разбухая, лишенный солнечных лучей от навеса древесных ветвей, производит мох. В таких болотах родится, иногда в великом изобилии, клюква и брусника; красивая зелень последней известна всем, ягоды же служат лакомою и питательною пищею для некоторых пород лесной дичи, равно как и для людей.

Наконец, есть болота *зыбкие,* которые народ не совсем верно называет *трясинами,* ибо они не трясутся, а зыблются, волнуются под ногами человека, *ходенем* ходят, как говорит тот же народ. Это не что иное, как целые озера, по большей части мелкие, но иногда и глубокие, покрытые толстою и очень крепкою пленою, сотканною из корней болотных растений, кустов и деревьев, растущих в торфяном грунте. Иногда посреди таких болот остаются незаросшие более глубокие места прежнего озера. Природа медленно производит эту работу, и я имел случай наблюдать ее: первоначальная основа составляется собственно из водяных растений, которые, как известно, растут на всякой глубине и расстилают свои листья и цветы на поверхности воды; ежегодно согнивая, они превращаются в какой-то кисель — начало черноземного торфа, который слипаясь, соединяется в большие пласты: разумеется, все это может про-

исходить только на водах стоячих и предпочтительно в тех местах, где мало берет ветер. *Водяной цвет,* называемый *зеленью* около Москвы и *шмарою* в Оренбургской губернии, которым ежегодно во время лета покрываются непроточные пруды, озера и болота, который появляется и на реках, но разбивается и уносится быстрым их течением,— водяной цвет, соединяясь с перегнивающими водяными растениями, древесными иглами и листьями, составляет уже довольно густую массу, плавающую на воде. Погоныши и даже болотные курочки бегают по ней не проваливаясь, оставляя только дорожки следов, которыми искрещивается вдоль и поперек разными узорами это зеленое покрывало. Прибиваемая ветром к берегу липкая масса пристает к нему плотно и осеменяется разными болотными береговыми травами, которые охотно растут по ней и которые сейчас скрепляют ее длинными нитями своих корней. Год от году толстеет и твердеет эта плавучая почва, и год от году усиливается растительность трав, ежегодное согнивание которых производит торфяную землю. Наконец, появляются на ней тальник, ива, даже ольха и береза: они окончательно скрепляют почву своими корнями, и скоро по наружности она сделается совершенно похожею на берега и будет казаться им продолжением. Впоследствии времени порастает она даже кочками. Иногда большие куски этой плены отрываются от берега и плавучими островами, со всею зеленью, деревьями и живущею на них птицею, гуляют по озеру и пристают то к тому, то к другому берегу, повинуясь направлению ветра; иногда опять прирастают к берегам. Это случается только на озерах больших и глубоких; на водах же средней величины и мелких процесс зарастания обыкновенно оканчивается тем, что сплошной слой от края до края, во всех направлениях, заволочет поверхность воды, и через несколько лет наружность его представит вид обыкновенного болота, но обманчива эта наружность... Как только отойдешь несколько шагов от настоящего края, земля начнет в буквальном смысле волноваться, опускаться и подниматься под ногами человека и даже около него, со всеми растущими по ее поверхности травами, цветами, кочками, кустиками и даже деревьями. С непривычки может закружиться голова и ходить покажется страшно, хотя и не опасно, если болота не имеют так называемых *окошек,* то есть мест, не заросших крепкими корнями трав и растений. Такие места очень верно называют крестьяне «прососами» и «просовами». Окошки чистые, не малые, в которых стоит жидкая тина или вода, бросаются в глаза всякому, и никто не попадет в них; но есть прососы или

окошки скрытные, так сказать потаенные, небольшие, наполненные зеленоватою, какою-то кисельною массою, засоренные сверху старою, сухою травою и прикрытые новыми, молодыми всходами и побегами мелких, некорнистых трав; такие окошки очень опасны; нередко охотники попадают в них по неосторожности и горячности, побежав к пересевшей или подстреленной птице, что делается обыкновенно уже не глядя себе под ноги и не спуская глаз с того места, где села или упала птица. Бывали примеры, что такая неосторожность стоила жизни охотнику. Жидкая, тинистая, липкая масса, на дне которой стоит вода, засосет туда человека, если он не успеет или ему будет не за что схватиться. Во всяком случае без товарища по таким болотам ходить не должно. Утвердительно могу сказать, что зыбкие болота иногда превращаются в обыкновенные: вероятно, верхний пласт, год от году делаясь толще и тяжеле, наконец сядет на дно, а вода просочится наружу и испарится.

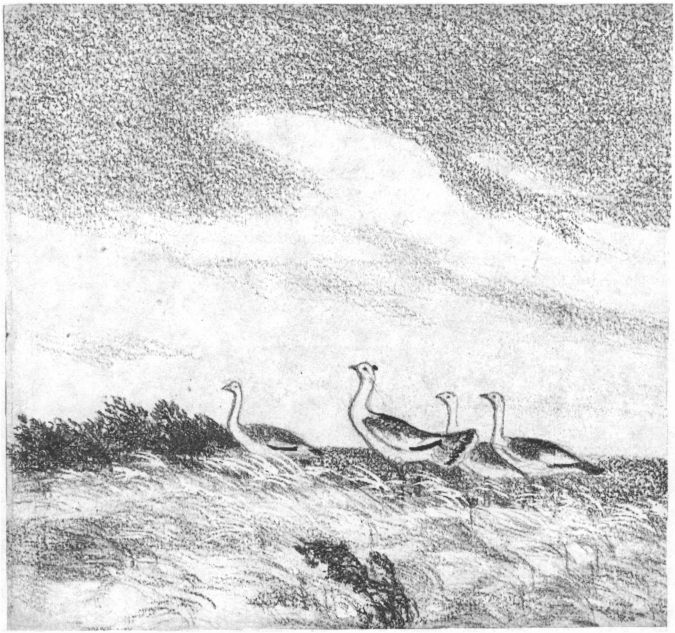
Таковы виды болот, мне известных. Самое лучшее из них — болото чистое, луговое, заливаемое весенними потоками, поросшее кустиками и редкими деревьями. Как хорошо оно в теплое весеннее утро! Вода сбыла, оставя кое-где мокрые следы и небольшие гривы наносной земли с черноземных полей. Нигде растительность не является с такою силой. Солнце палит влажную, тучную почву и тянет из нее травы и цветы: чуть не видишь, как растут они! Кусты и деревья только что распустились или распускаются, блестящим ароматным лаком покрыты их листья. Каждый куст и дерево окружено собственною, благоуханною атмосферой...

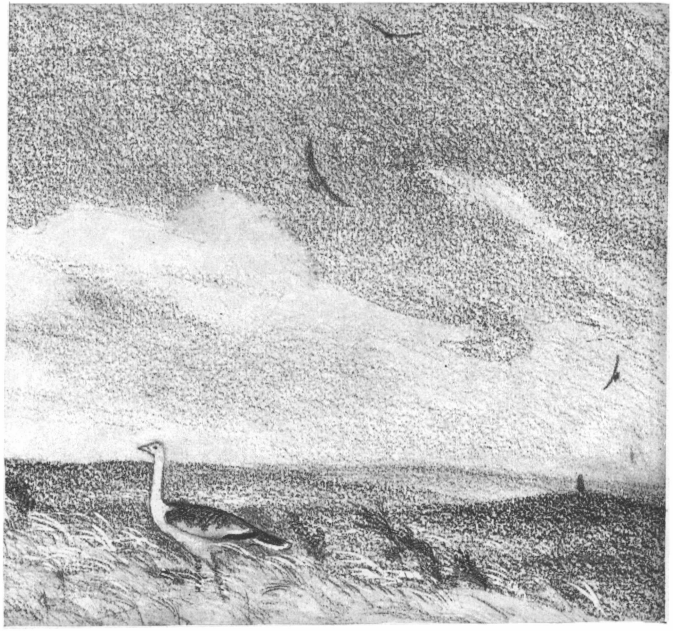
Перехожу к описанию болотной дичи.

БЕКАС

Начинаю с бекаса, отдавая ему преимущество над дупельшнепом и гаршнепом по быстроте его полета и трудности добыванья. Всякий истинный охотник согласится признать за ним это первенство. Телом бекас невелик, с трехнедельного цыпленка, но имеет очень длинные нос и ноги. Спина, крылья и короткий хвостик покрыты пестрыми перьями, темно-коричневый, сероватый цвет которых определить трудно. Брюхо у него и часть зоба или груди — белые; глаза темные, немного навыкате, довольно большие и веселые; ножки темноватые, почти черненькие, три передние пальца очень длинны и снабжены острыми и довольно долгими ног-

тями. Подбой, или изнанка, крыльев сероватая или сизовато-пепельная, под плечными суставами — очень красивые серые пятнышки; на спине у бекаса перья коричневее и длиннее; каждое перо с одного бока имеет светло-желтую оторочку; конец носа как будто немного расплюснут, и обе носовые половинки покрыты мелкими поперечными рубчиками, похожими на терпужок. Вообще бекас, не отличаясь яркими цветами перьев, имеет вид красивый и живой. Нос его, относительно к величине тела, несоразмерно длинен; у крупного старого бекаса он бывает длиною вершок с четвертью; он запускает его в мягкую болотную почву или хотя не болотную, но случайно от воды размокшую и достает беловатые корешки трав и растений, что и составляет его преимущественную пищу; именно ей приписывают изящный вкус бекасиного мяса. Всегдашнее местопребывание бекаса — мокрые болота.





СТЕПЬ

СТЕПЬ

Слово *степь* имеет у нас особенное значение и обыкновенно представляет воображению обширное пространство голой, ровной, безводной земной поверхности; многие степи таковы действительно, но в Оренбургской губернии в уездах Уфимском, Стерлитамацком, Белебеевском, Бугульминском, Бугурусланском и Бузулукском[1] степи совсем не таковы: поверхность земли в них по большей части неровная, волнистая, местами довольно лесная, даже гористая, пересекаемая оврагами с родниковыми ручьями, степными речками и озерами.

Всякое пространство ковылистой *нови*, никогда не паханной земли, иногда на несколько сот верст в окружности, а иногда небольшое, зовут там степью.

Такие степные места, как следует по-настоящему называть их, бывают чудно хороши весной своею роскошною, свежею растительностью.

Сочными, пышными, высокими травами и цветами покрыта их черноземная почва, особенно по долинам и равнинам между перелесками. В благоприятный год степные сенокосы обильнее и лучше заливных лугов.

Только по скатам величавых горных хребтов, которые вдоль по рекам, речкам и суходолам перерезывают иногда степные сырты[2] и увалы[3], попадаются горные породы мелкорослых трав: особенного вида приземистый, рассыпчатый ковыль, сизый горный шалфей, белая низенькая полынь, чабер и богородская трава. Особенным ароматом наполняют они воздух, и кто не ночевывал летом в наших степях, на покатостях горных кряжей, тот не может иметь понятия о благорастворенном, мягком, живительном их воздухе, который здоровее даже лесного.

Целебные качества степных трав и степного воздуха очевидно доказываются удивительным восстановлением телесных сил кочевых башкирцев, которые каждую весну выезжают в свои степные *кочи* исхудалые, изможденные голодною зимою, и также исцелением множества больных, уже приговоренных к смерти врачами. Да не приписывают этого исце-

---

[1] В настоящее время значительная часть перечисленных районов входит в состав автономных советских республик: Уфимский, Стерлитамакский и Белебеевский — в Башкирскую АССР, Бугульминский — в Татарскую АССР.

[2] Сырт — возвышенность, являющаяся водоразделом.

[3] Увал — крутой склон, возвышенный берег реки.

ления употреблению одного кумыса: он мало оказывает пользы без степного корма для кобыльих маток, без степного воздуха, без жизни в степи.

Рано весной, как только сойдет снег и станет обсыхать вётошь, то есть прошлогодняя трава, начинаются *палы*, или степные пожары. Это обыкновение выпаливать прошлогоднюю сухую траву для того, чтобы лучше росла новая, не обходится иногда без дурных последствий.

Чем ранее начинаются палы, тем они менее опасны, ибо опушки лесов еще сыры, на низменных местах стоят лужи, а в лесах лежат сувои снега.

Если же везде сухо, то степные пожары производят иногда гибельные опустошения: огонь, раздуваемый и гонимый ветром, бежит с неимоверною быстротою, истребляя на своем пути все, что может гореть: стога зимовавшего в степях сена, лесные колки, даже гумна с хлебными копнами, а иногда и самые деревни.

Для отвращения подобных бедствий лет сорок или пятьдесят тому назад в общем употреблении было одно средство: предварительно опалить кругом стога, лес, гумна и деревню. Я своими глазами видал, как целые толпы крестьян и крестьянок, с метлами в руках, производили такое опаливание; они шли по обеим сторонам нарочно пущенного и бегущего, как ручей, огня, тушили его боковые разливы и давали ему надлежащее направление.

При сильном ветре, обыкновенно бывающем весною и усиливающемся от пожаров, особенно если трава суха, это предохранительное опаливание — дело довольно затруднительное.

Случалось, что не могли сладить с огнем, и он уходил в поле, так что самая предосторожность производила ту же беду, от которой защищались.

Таким же образом выжигают залежи, поросшие высоким бастыльником[1], и прошлогоднюю жниву. Это делается не столько для удобрения земли, сколько для того, чтобы легче было пахать яровую пашню, ибо на плодоносной почве густая прошлогодняя жнива бывает выше колена.

Не входя в рассуждение о неосновательности причин, для которых выжигают сухую траву и жниву, я скажу только, что палы в темную ночь представляют великолепную картину: в разных местах то стены, то

---

[1] Бастыльник — сорная крупная трава; шла как материал для освещения изб.

реки, то ручьи огня лезут на крутые горы, спускаются в долины и разливаются морем по гладким равнинам. Все это сопровождается шумом, треском и тревожным криком степных птиц.

Хорошо, что степные места никогда не выгорают все дотла, а то негде было бы водиться полевой птице. Мокрые долочки, перелески и опушки лесов с нерастаявшим снегом, дороги, в колеях которых долго держится сырость, наконец речки — останавливают и прекращают огонь, если нет поблизости сухих мест, куда бы мог он перебраться и даже перескочить.

Это перескакиванье в ночной темноте бывает также очень живописно. Огонь, бежавший широкою рекою, разливая кругом яркий свет и заревом отражаясь на темном небе, вдруг начинает разбегаться мелкими ручейками; это значит, что он встретил поверхность земли, местами сырую, и перебирается по сухим верхушкам травы; огонь слабеет ежеминутно, почти потухает, кое-где перепрыгивая звездочками, мрак одевает окрестность... но одна звездочка перескочила на сухую залежь, и мгновенно расстилается широкое пламя, опять озарены окрестные места, и снова багряное зарево отражается на темном небе.

Сначала опаленные степи и поля представляют печальный, траурный вид бесконечного пожарища; но скоро иглы яркой зелени, как щетка, пробьются сквозь черное покрывало, еще скорее развернутся они разновидными листочками и лепестками, и через неделю все покроется свежею зеленью; еще неделя, и с первого взгляда не узнаешь горелых мест.

Степной кустарник, реже и менее подвергающийся огню, потому что почва около него бывает сырее: вишенник, бобовник (дикий персик) и чилизник (полевая акация) начинают цвести и распространять острый и приятный запах; особенно роскошно и благовонно цветет бобовник: густо обрастая иногда огромное пространство по отлогим горным скатам, он заливает их сплошным розовым цветом[1], промеж которого виднеются иногда желтые полосы или круговины цветущего чилизника.

---

[1] Плоды дикого персика состоят из небольших бобов, с серебряный пятачок в окружности, сердцеобразной фигуры. Орехи, имеющие вкус горького миндаля и, вероятно, все его качества, заключены в жесткой и крепкой скорлупе, покрытой сверху мохнатою зеленоватою кожицею. В Оренбургской губернии бьют из них масло, вкус которого и запах так пронзительно остры, что одну ложку его кладут на бутылку макового масла, и этого достаточно, чтобы сообщить целой бутылке очень сильный приятный и ароматический вкус; если персикового масла положить более, то оно производит желудочные и головные боли. *(Примеч. Аксакова.)*

По другим местам, более отлогим, обширные пространства покрыты белыми, но не яркими, а как будто матовыми, молочными пеленами: это дикая вишня в цвету.

Вся степная птица, отпуганная пожаром, опять занимает свои места и поселяется в этом море зелени, весенних цветов, цветущих кустарников; со всех сторон слышны: не передаваемое словами *чирканье* стрепетов, заливные, звонкие трели кроншнепов, повсеместный горячий *бой* перепелов, трещанье кречеток.

На восходе солнца, когда ночной туман садится благодатною росою на землю, когда все запахи цветов и растений дышат сильнее, благовоннее — невыразимо очаровательна прелесть весеннего утра в степи... Все полно жизни, свежо, ярко, молодо и весело!.. Таковы степные места в Оренбургской губернии в продолжение мая.

Если лето дождливо, то роскошная растительность сохраняет свою свежесть до начала июля и достигает великолепных размеров; но если июнь сух, то к концу его травы начинают сохнуть, а ковыль развивать понемногу свои пуховые нити. К концу же июня, к Петрову дню, поспевает ранняя полевая клубника; но самый *раст*[1] ее бывает около летней Казанской, 8 июля.

Эта чудная, ароматная, превосходная вкусом и целебная для здоровья ягода родится в некоторых местах в удивительном изобилии: в голой, чистоковылистой степи ее мало, но около перелесков, по долинам и залежам, когда они закинуты уже года три или четыре и начинают лужать[2], клубника родится сплошная и, когда созреет, точно красным сукном покрывает целые загоны.

В июле поспевает полевая вишня; места, где растет она, называются *вишенными садками;* они занимают иногда огромное пространство и сначала еще ярче краснеют издали, чем клубника, но спелая ягода темнеет и получает свой собственный, вишневый цвет.

Русские туземцы только сушат полевую клубнику для продажи и для употребления во время поста, а все азиатские племена приготовляют из нее пастилу, которая бывает очень вкусна, если сделана из отборных спелых ягод: она известна под именем *татарской пастилы.* Вишню также сушат, а большие садки отдают *на съём* приезжающим нарочно для этого

---

[1] Раст — пора дозревания плодов, ягод; пора быстрого роста зелени, хлеба.

[2] Лужáть — зарастать луговой травой.

промысла верховным торгашам, которые нанимают кучу всякого народа, набирают вишен целые десятки возов, бьют морс и увозят в больших сорокоушах[1]; из этого морса выгоняется превосходная водка.

Но прежде нашествия человеческого нападают на ягоды птицы: тудаки, стрепета и тетерева со своими выводками. Последние исключительно питаются ягодами, пока ягоды не сойдут, и в это время мясо молодых тетеревов получает отличный вкус.

Осенью ковылистые степи совершенно изменяются и получают свой особенный, самобытный, ни с чем не схожий, чудный вид: выросшие во всю свою длину и вполне распушившиеся перлово-сизые волокна ковыля при легком дуновении ветерка уже колеблются и струятся мелкою, слегка серебристою зыбью. Но сильный ветер, безгранично властвуя степью, склоняет до пожелтевших корней слабые, гибкие кусты ковыля, треплет их, хлещет, рассыпает направо и налево, бьет об увядшую землю, несет по своему направлению, и взору представляется необозримое пространство, все волнующееся и все как будто текущее в одну сторону.

Для непривычных глаз такое зрелище сначала ново и поразительно, никакое течение воды на него не похоже; но скоро своим однообразием оно утомляет зрение, у иных производит даже головокружение и наводит какое-то уныние на душу.

Степные же места не ковылистые в позднюю осень имеют вид еще более однообразный, безжизненный и грустный, кроме выкошенных луговин, на которых, около круглых стогов потемневшего от дождя сена, вырастает молодая зеленая отава; станицы тудаков и стрепетов любят бродить по ней и щипать молодую траву, даже гуси огромными вереницами, перемещаясь с одной воды на другую, опускаются на такие места, чтобы полакомиться свежею травкою. . . . . .

. . . . . .

Наконец наступает первозимье: снег покрывает землю, ложатся пороши, испещряется степь русачьими *маликами,* лисьими *нарысками,* волчьими *следами* и следами мелких зверьков. Пришла пора сходить и *съезжать* русаков[2].

Если вдруг выпадет довольно глубокий снег четверти в две, пухлый

---

[1] Сорокоу́ша — мерная бочка в сорок ведер.

[2] Съезжать русаков — отыскивать их по следу верхом или в санях. Когда же охотник пеший, то это называется «тропить».

и рыхлый до того, что нога зверя вязнет до земли, то башкирцы и другие азиатские и русские поселенцы травят, или, вернее сказать, давят, в большом числе русаков не только выборзками[1], но и всякими дворными собаками, а лис и волков заганивают верхами на лошадях и убивают одним ударом толстой ременной плети, от которой, впрочем, и человек не устоит на ногах.

Успех травли и гоньбы происходит от того, что лошадям и высоким на ногах собакам снег в две и две с половиной четверти глубины мало мешает скакать, а зверю напротив: он вязнет почти по уши, скоро устает, выбивается из сил, и догнать его нетрудно.

С первою оттепелью, с первою осадкой снега и образованьем наста, без чего редко становится зима, всякое добывание зверя в степи гоньбою прекращается, потому что снег окрепнет и, поднимая зверя, не поднимет ни человека, ни лошади.

Одни зимние вьюги, по-оренбургски — бураны, беспрепятственно владычествуют на гладких равнинах, взрывая их со всех сторон, превращая небо, воздух и землю в кипящий снежный прах и белый мрак... О, не дай бог никому испытать жестокость зимних метелей в степях оренбургских!

---

[1] Вы́борзок — помесь борзой охотничьей собаки с дворняжкой.

A E C

ЛЕС

Я сказал о воде, что она «краса природы»; почти то же можно сказать о лесе. Полная красота всякой местности состоит именно в соединении воды с лесом. Природа так и поступает: реки, речки, ручьи и озера почти всегда обрастают лесом или кустами. Исключения редки.

В соединении леса с водою заключается другая великая цель природы. Леса — хранители вод: деревья закрывают землю от палящих лучей летнего солнца, от иссушительных ветров; прохлада и сырость живут в их тени и не дают иссякнуть текучей или стоячей влаге...

Все породы дерев смолистых, как-то: сосна, ель, пихта и проч., называются *красным лесом,* или *краснолесьем.* Отличительное их качество состоит в том, что вместо листьев они имеют иглы, которых зимою не теряют, а переменяют их исподволь, постепенно, весною и в начале лета; осенью же они становятся полнее, свежее и зеленее, следовательно, встречают зиму во всей красе и силе.

Лес, состоящий исключительно из одних сосен, называется *бором.*

Все остальные породы дерев, теряющие свои листья осенью и возобновляющие их весною, как-то: дуб, вяз, осокорь, липа, береза, осина, ольха и другие, называются *черным лесом,* или *чернолесьем.* К нему принадлежат ягодные деревья: черемуха и рябина, которые достигают иногда значительной вышины и толщины.

К чернолесью же надобно причислить все породы кустов, которые также теряют зимой свои листья: калину, орешник, жимолость, волчье лыко, шиповник, чернотал, обыкновенный тальник и проч.

Красный лес любит землю глинистую, иловатую, а сосна — преимущественно песчаную; на чистом черноземе встречается она в самом малом числе, разве где-нибудь по горам, где обнажился суглинок и каменный плитняк.

Я не люблю красного леса, его вечной, однообразной и мрачной зелени, его песчаной или глинистой почвы, может быть, оттого, что я с малых лет привык любоваться веселым разнолистным чернолесьем и тучным черноземом. В тех уездах Оренбургской губернии, где прожил я бо́льшую половину своего века, сосна — редкость.

Итак, я стану говорить об одном чернолесье.

По большей части чернолесье состоит из смешения разных древесных пород, и это смешение особенно приятно для глаз, но иногда попадаются

места отдельными гривами, или *колками,* где преобладает какая-нибудь одна порода: дуб, липа, береза или осина, растущие гораздо в большем числе в сравнении с другими древесными породами и достигающие объема строевого леса.

Когда разнородные деревья растут вместе и составляют одну зеленую массу, то все кажутся равно хороши, но в отдельности одни другим уступают.

Хороша развесистая, белоствольная, светло-зеленая, веселая береза, но еще лучше стройная, кудрявая, круглолистая, сладко-душистая во время цвета, не ярко, а мягко-зеленая липа, прикрывающая своими лубьями и обувающая своими лыками православный русский народ.

Хорош и клен с своими лапами-листами (как сказал Гоголь); высок, строен и красив бывает он, но его мало растет в знакомых мне уездах Оренбургской губернии, и не достигает он там своего огромного роста.

Коренаст, крепок, высок и могуч, в несколько обхватов толщины у корня, бывает многостолетний дуб, редко попадающийся в таком величавом виде; мелкий же дубняк не имеет в себе ничего особенно привлекательного: зелень его темна или тускла, вырезные листья, плотные и добротные, выражают только признаки будущего могущества и долголетия.

Осина[1] и по наружному виду и по внутреннему достоинству считается последним из строевых дерев. Не замечаемая никем, трепетнолистная осина бывает красива и заметна только осенью: золотом и багрянцем покрываются ее рано увядающие листья, и, ярко отличаясь от зелени других дерев, придает она много прелести и разнообразия лесу во время осеннего листопада.

Зарость, или *порость,* то есть молодой лес, приятен на взгляд, особенно издали. Зелень его листьев свежа и весела, но в нем мало тени, он тонок и так бывает част, что сквозь него не пройдешь. Со временем бо́льшая часть дерев посохнет от тесноты, и только сильнейшие овладеют всею питательностью почвы и тогда начнут расти не только в вышину, но и в толщину.

Чернея издали, стоят высокие, тенистые, старые, *темные леса,* но под

---

[1] Народ говорит: горькая осина, и употребляет эти слова в бранном смысле. Кора осины, точно, горька, но зайцы предпочтительно любят глодать молодой осинник. *(Примеч. Аксакова.)*

словом «старый» не должно разуметь состарившийся, дряхлый, лишенный листьев: вид таких дерев во множестве был бы очень печален.

В природе все идет постепенно. Большой лес всегда состоит из дерев разных возрастов: отживающие свой век и совершенно сухие во множестве других, зеленых и цветущих, незаметны.

Кое-где лежат по лесу огромные стволы, *сначала* высохших, потом подгнивших у корня и, наконец, сломленных бурею дубов, лип, берез и осин[1]. При своем падении они согнули и поломали молодые соседние деревья, которые, несмотря на свое уродство, продолжают расти и зеленеть, живописно искривясь набок, протянувшись по земле или скорчась в дугу.

Трупы лесных великанов, тлея внутри, долго сохраняют наружный вид; кора их обрастает мохом и даже травою; мне нередко случалось второпях вскочить на такой древесный труп и — провалиться ногами до земли сквозь его внутренность: облако гнилой пыли, похожей на пыль сухого дождевика, обхватывало меня на несколько секунд... Но это нисколько не нарушает общей красоты зеленого, могучего лесного царства, свободно растущего в свежести, сумраке и тишине.

Отраден вид густого леса в знойный полдень, освежителен его чистый воздух, успокоительна его внутренняя тишина и приятен шелест листьев, когда ветер порой пробегает по его вершинам!

Его мрак имеет что-то таинственное, неизвестное; голос зверя, птицы и человека меняются в лесу, звучат другими, странными звуками. Это какой-то особый мир, и народная фантазия населяет его сверхъестественными существами: *лешими* и *лесными девками,* так же как речные и озерные омута — *водяными чертовками,* но жутко в большом лесу во время бури, хотя внизу и тихо: деревья скрипят и стонут, сучья трещат и ломаются. Невольный страх нападает на душу и заставляет человека бежать на открытое место.

На ветвях дерев, в чаще зеленых листьев и вообще в лесу живут пестрые, красивые, разноголосые, бесконечно разнообразные породы птиц: токуют глухие и простые тетерева, пищат рябчики, хрипят на тягах

---

[1] Дуб живет многие столетия; липа — более ста пятидесяти лет, береза — за сто, а осина — менее ста лет. Общий признак старости дерев, даже при зеленых, но уже редких листьях,— повисшие книзу главные сучья; этот признак всего заметнее в березе, когда ей исполнится сто лет. *(Примеч. Аксакова.)*

вальдшнепы, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, заунывно, мелодически перекликаются иволги[1], стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки; свиристели, лесные жаворонки, дубоноски и все многочисленное крылатое, мелкое певчее племя наполняет воздух разными голосами и оживляет тишину лесов. На сучьях и в дуплах дерев птицы вьют свои гнезда, кладут яйца и выводят детей; для той же цели поселяются в дуплах куницы и белки, враждебные птицам, и шумные рои диких пчел[2].

Трав и цветов мало в большом лесу: густая, постоянная тень неблагоприятна растительности, которой необходимы свет и теплота солнечных лучей. Чаще других виднеются зубчатый папоротник, плотные и зеленые листья ландыша, высокие стебли отцветшего лесного левкоя да краснеет кучками зрелая костяника. Сырой запах грибов носится в воздухе, но всех слышнее острый и, по-моему, очень приятный запах груздей, потому что они родятся семьями, *гнездами* и любят *моститься* (как говорят в народе) в мелком папоротнике, под согнивающими прошлогодними листьями... . . . . .

. . . . . .

Лес и кусты, растущие около рек по таким местам, которые заливаются полою водою, называется *уремою*. Уремы бывают различны: по большим рекам и рекам средней величины, берега которых всегда песчаны, урема состоит предпочтительно из вяза, осокоря, ракиты или ветлы и изредка из дуба, достигающих огромного роста и объема; черемуха, рябина, орешник и крупный шиповник почти всегда им сопутствуют, разливая кругом во время весеннего цветения сильный ароматический запах. Вяз

---

[1] Иволги имеют еще другой, противоположный крик или визг, пронзительный и неприятный для уха. Находя в этих звуках сходство с отвратительным криком грызущихся кошек, народ называет иволгу *дикою кошкой*. *(Примеч. Аксакова.)*

[2] Дуплистое дерево, занимаемое пчелами, называется *борть*. Заметив отверстие, в которое лазят пчелы, его выдалбливают и обделывают *должеями*, чтоб можно было вынимать их и свободно доставать соты душистого зеленого меда, известного под именем *липца*. Бортевые промыслы в Оренбургской губернии были прежде весьма значительны, но умножившееся народонаселение и невежественная жадность при доставании меда, который нередко вынимают весь, не оставляя запаса на зиму, губят диких пчел, которых и без того истребляют медведи, большие охотники до меда, некоторые породы птиц и жестокость зимних морозов. *(Примеч. Аксакова.)*

не так высок, но толстый, свилеватый пень его бывает в окружности до трех сажен; он живописно раскидист, и прекрасна неяркая, густая зелень овальных, как будто тисненых его листьев. Зато осокорь достигает исполинской вышины; он величав, строен и многолиствен; его бледно-зеленые листья похожи на листья осины и так же легко колеблются на длинных стебельках своих при малейшем, незаметном движении воздуха. Его толстая и в то же время легкая, мягкая, красная внутри кора идет на разные мелочные поделки, всего более на наплавки к рыболовным сетям, неводам и удочкам.

Такие уремы не бывают густы, имеют много глубоких заливных озер, богатых всякою рыбою и водяною дичью. Везде по берегам рек и озер, по песчаным пригоркам и косогорам предпочтительно перед другими лесными ягодами растет в изобилии *ежевика* (в некоторых губерниях ее называют *куманикой)*, цепляясь за все своими гибкими, ползучими, слегка колючими ветками; с весны зелень ее убрана маленькими белыми цветочками, а осенью черно-голубыми или сизыми ягодами превосходного вкуса, похожими наружным образованием и величиною на крупную малину.

Хороша такая урема: огромные деревья любят простор, растут не часто, под ними и около них, по размеру тени, нет молодых древесных побегов, и потому вся на виду величавая красота их.

Уремы другого рода образуются по рекам, которых нельзя причислить к рекам средней величины, потому что они гораздо меньше, но в то же время быстры и многоводны; по рекам, протекающим не в бесплодных, песчаных, а в зеленых и цветущих берегах, по черноземному грунту, там редко встретишь вяз, дуб или осокорь, там растет березник, осинник и ольха[1]; там, кроме черемухи и рябины, много всяких кустов: калины, жимолости, боярышника, тальника, смородины и других. Эти-то уремы особенно мне нравятся.

Многие деревья и предпочтительно таловые кусты пронизаны, протканы и живописно обвиты до самого верха цепкими побегами дикого хмеля и обвешаны сначала его зелеными листьями, похожими на виноградные

---

[1] Ольха самое живое к росту дерево; она любит почву сырую и обыкновенно густо растет по берегам небольших речек и ручьев; если же грунт болотист, то покрывает и гористые скаты. Ольха достигает довольно большого роста и толщины, но дерево ее мягко, хрупко и непрочно; однако столяры употребляют его, распилив на филенки, для обклейки разной мебели. *(Примеч. Аксакова.)*

листья, а потом палевыми, золотыми шишками, похожими на виноградные кисти, внутри которых таятся мелкие, круглые, горькие на вкус, *хмельные* семена.

Множество соловьев, варакушек и всяких певчих птичек живет в зеленых, густорастущих кустах такой уремы. Соловьи заглушают всех. День и ночь не умолкают их свисты и раскаты. Садится солнце, и *ночники* сменяют до утра усталых денных соловьев.

Только там, при легком шуме бегущей реки, посреди цветущих и зеленеющих деревьев и кустов, теплом и благовонием дышащей ночи, имеют полный смысл и обаятельную силу соловьиные песни... но они болезненно действуют на душу, когда слышишь их на улице, в пыли и шуме экипажей, или в душной комнате, в говоре людских речей.

По небольшим рекам и речкам, особенно по низменной и болотистой почве, уремы состоят из одной ольхи и таловых кустов, по большей части сквозь проросших мелким камышом. Изредка кое-где торчат кривобокие березы, которые не боятся мокрых мест, равно как и сухих.

Такие уремы бывают особенно густы, часты и болотисты, иногда имеют довольно маленьких озерков и представляют полное удобство к выводу детей для всей болотной и водяной дичи; всякие звери и зверьки находят в них также безопасное убежище[1].

И этот лес, так поверхностно, недостаточно мною описанный, эту красу земли, прохладу и зной, жилище зверей и птиц, лес, из которого мы строим дома и которым греемся в долгие жестокие зимы,— не бережем мы в высочайшей степени. Мы богаты лесами, но богатство вводит нас в мотовство, а с ним недалеко до бедности: срубить дерево без всякой причины у нас ничего не значит...

Из всего растительного царства дерево более других представляет видимых явлений органической жизни и более возбуждает участия. Его огромный объем, его медленное возрастание, его долголетие, крепость и прочность древесного ствола, питательная сила его корней, всегда готовых к возрождению погибающих сучьев и к молодым побегам от погибшего уже пня, и, наконец, многосторонняя польза и красота его должны

---

[1] В Оренбургской губернии урему, поросшую разными мелкими кустиками, постоянно заливаемую, *занимаемую* весной полою водою, называют иногда *займищем;* а урему, состоящую исключительно из одних таловых кустов, плотно растущих,— *талы. (Примеч. Аксакова.)*

бы, кажется, внушать уважение и пощаду... но топор и пила промышленника не знают их, а временные выгоды увлекают и самих владельцев...

Я никогда не мог равнодушно видеть не только вырубленной рощи, но даже падение одного большого подрубленного дерева; в этом падении есть что-то невыразимо грустное: сначала звонкие удары топора производят только легкое сотрясение в древесном стволе; оно становится сильнее с каждым ударом и переходит в общее содрогание каждой ветки и каждого листа; по мере того как топор прохватывает до сердцевины, звуки становятся глуше, больнее... еще удар, последний: дерево осядет, надломится, затрещит, зашумит вершиною, на несколько мгновений как будто задумается, куда упасть, и наконец начнет склоняться на одну сторону, сначала медленно, тихо и потом, с возрастающей быстротою и шумом, подобным шуму сильного ветра, рухнет на землю!..

Многие десятки лет достигало оно полной силы и красоты и в несколько минут гибнет нередко от пустой прихоти человека.

ГОЛУБЬ

Голубь с незапамятных времен служит эмблемою чистоты, кротости и любви — и не напрасно: все эти три качества принадлежат ему по преимуществу.

Любовь голубя к голубке и общая их нежность к детям признаны всем народом русским и засвидетельствованы его песнями и поговорками: авторитет убедительный и неопровержимый.

Слова ласки и сожаления, *голубчик* и *голубушка,* постоянно слышны в речах простого народа.

Хотят ли сказать, как ладно живет муж с женой, как согласны брат с сестрой, как дружны между собой приятели и приятельницы, и непременно скажут: «Они живут, как голубь с голубкой, не наглядятся друг на друга».

Желая выразить чье-нибудь простодушие или доброту, говорят: «У него голубиная душа».

Сострадая чужой беде, всякая крестьянка скажет: «Ох, моя голубушка, натерпелась она горя».

Самая наружность голубя выражает его качества: как он всегда чист

и опрятен, как соразмерны все части его тела! Какая круглота, мягкость в очертаниях его фигуры! Во всех движениях нет ничего порывистого, резкого: все так кротко, спокойно, грациозно. Народ глубоко чувствует нравственные качества голубей и питает к ним особенную любовь.

Русских голубей, без сомнения переродившихся из диких, многие домохозяева кормят хлебными зернами, ставят им пóлки для гнезд, и всякий хозяин считает благоприятным знаком, если голуби хорошо ведутся у него на дворе.

Крестьяне никогда не едят голубей и во многих деревнях не позволяют их стрелять.

ТЕТЕРЕВ

Кто не знает тетерева, простого, обыкновенного, полевого тетерева березовика, которого народ называет *тетеря,* а чаще *тетерька?..*

Стрельба тетеревов в осень по-голу, или по черно-стопу, как говорят охотники, а также по первозимью, по неглубокому еще снегу, имеет свой особенный характер. Она называется: стрельба с подъезда. Осенние дожди, утренние морозы и ветры обнажили деревья. Намоченная земля сделалась мягка, и подъезжать к тетеревам стало удобно, не шумно даже на колесах. Но вот, наконец, первый пушистый снег покрывает землю — и вот лучшее время подъезда.

Уже шесть часов утра, а еще совершенно темно. Охотник давно проснулся, давно встал и оделся со свечкой. Ружье и все охотничьи вещи и припасы с вечера приготовлены и лежат на особом столе. Лошади поданы. Места стрельбы не близки, рассвенет дорогой, пора ехать. Он садится в невысокие сани с широкими наклестками, чтоб ловко было, прицеливаясь, опереться на них локтем, и бережно закрывает ружье суконным чехлом или просто шинелью, чтоб не заметало его снегом из-под конских копыт. Полетела бойкая тройка[1]. Везде путь по первому мел-

---

[1] Странным покажется подъезд к тетеревам тройкой: но это особенность Оренбургской губернии, тамошних расстояний и охотников. Без преувеличения могу сказать, что я и другие охотники часто делывали до обеда, то есть до второго часа, по пятьдесят верст, гоняясь за улетающими стаями тетеревов и ошибаясь иногда в их направлении. Если снег не мелок (а мы езжали до глубокого снега), то на одной лошади далеко не уедешь. Притом очень часто ездишь, бывало, до поздних сумерек. Нет сомнения, что лучше подъезжать в одну лошадь; по мелкому

кому снегу: горы и овраги не помеха простому и крепкому устройству охотничьих саней. Вот, наконец, и хлебные поля, еще не совсем занесенные снегом, куда тетерева повадились летать за лакомою, сытною пищею; вот и опушки леса, молодые осиновые и березовые заросли, в которых тетерева непременно ночуют, если большой ястреб или беркут не угнал их накануне куда-нибудь подальше. Здесь надобно остановиться: лошадям вздохнуть и самому охотнику осмотреться и подождать вылета тетеревов. Вот уже совсем рассвело, вороны закаркали и полетели с ночлега, сороки вдалеке щекочут, завидя какую-то диковинку... С нетерпением озирается во все стороны охотник и, привычный к делу, его кучер: ничего не видать. Вдруг на обнаженных сучьях далекой старой березы появилось темное, кругловатое тело, вот другое, третье... Это тетерева подымаются с ночлега. Охотник скачет к ним во весь опор, чтоб напасть на голодных и еще не собравшихся в одну большую стаю, ибо большая стая летает иногда за кормом очень далеко в хлебные поля, куда повадилась она летать с осени. Охотник начинает подъезжать к тетеревам, выбирая ближайшего или крайнего. Главное условие подъезда: никогда не направлять лошадей прямо на тетерева и никогда не подъезжать к нему сзади, разумеется, если выполнить то и другое позволяет местность; надобно так подъезжать, что как будто вы едете мимо. Тетерева (да и всякая другая птица) не любят, когда едут прямо на них, особенно если едут сзади. Они начнут беспрестанно оглядываться и скоро улетят, не подпустив в меру ружейного выстрела. Случается иногда, если им почему-нибудь не хочется слетать с дерева, что тетерева поворачиваются носами к подъезжающему сзади охотнику, но это исключение. Если тетерев, сидя на сучке, в то же время хватает древесные почки или плотно сидит нахохлившись, это значит, что тетерев смирен и не думает улететь: следовательно, охотник может подъезжать поближе. Когда же тетерев вытянул шею, встал на ноги, беспрестанно повертывает голову направо и

лесу, кустам и опушкам гораздо удобнее проезжать в одиночку, да и тетерева менее боятся одной лошади, чем двух или трех вместе, ибо они привыкли видеть одноконные телеги и дровни, на которых крестьяне ездят за дровами и сеном. Но со всем тем, только *отъездя* осень на тройке отличных, крепких лошадей, можно убить такое количество тетеревов, какое бивал я и другие охотники: триста штук в одну осень — это было делом обыкновенным. В 1816 году, с исхода сентября до 6 декабря, я убил с подъезда около пятисот тетеревов. *(Примеч. Аксакова.)*

налево или, делая боковые шаги к тонкому концу сучка, потихоньку кудахчет, как курица, то охотник должен стрелять немедленно, если подъехал уже в меру: тетерев сбирается в путь; он вдруг присядет и слетит.

РЯБЧИК

Рябчика во многих местах называют *рябцом;* имена эти он вполне заслуживает: он весь рябой, весь пестрый. Величиною рябчик, самый старый, немного больше русского голубя, но будет несколько покруглее и помясистее. Склад его совершенно тетеревиный. Брови красные, глаза довольно большие и черные, перышки на голове темного цвета, иногда приподнимаются и кажутся чем-то вроде хохолка, ножки мохнатые, кроме пальцев. Пестрины, или рябины, на шее, зобу и брюшке разноцветные: черноватые, белые, желтоватые и даже красноватые, особенно на боках под крыльями; пух на теле и корнях перьев темный; фигура пестрин похожа на пятна кругловатые и несколько дугообразные; спинка и хвост, состоящий из жестких перьев умеренной длины, испещрены только серыми крапинами; такими же серыми, коротенькими поперечными полосками покрыты перья на крыльях; самец имеет под горлом темное пятно, брови у него краснее, и вообще он пестрее самки, которая кажется серее. Крылья у рябчика небольшие и короткие, отчего он вспархивает или взлетывает с большим усилием и шумом. Очевидно, что природа назначила ему только перелетывать небольшие расстояния, но бегает он весьма проворно. Рябчик — зимующая у нас и по преимуществу лесная дичь и уже вполне, в точности, заслуживает это название. Все другие породы лесной дичи, для добывания корма или для избежания капели с дерев в ненастную погоду, иногда хоть на короткое время оставляют лес, рябчик — никогда; он даже не водится в отдельных лесных колках: сплошные леса, занимающие большое пространство, предпочтительно краснолесье,— вот его постоянное жилище и летом и зимой; впрочем, он водится и держится иногда и в обширном чернолесье. В тех уездах Оренбургской губернии, где я живал и охотился, рябчиков нет, и потому я мало знаком с их нравами; я стреливал их в Вятской губернии; тамошние дремучие леса, идущие непрерывно до Архангельска, населены рябчиками в изобилии. Я не нахаживал их гнезд и выводок молодых, потому что охотился за ними не в то время, когда они выводят детей; но вот что

рассказывали мне туземные вятские охотники. Рябчики в начале мая садятся на гнезда, которые вьют весьма незатейливо, всегда в лесу на голой земле, из сухой травы, древесных листьев и даже мелких тоненьких прутиков; тока у них бывают в марте; самка кладет от десяти до пятнадцати яиц; она сидит на них одна, без участия самца, в продолжение трех недель; молодые очень скоро начинают бегать; до совершенного их возраста матка держится с ними предпочтительно в частом и даже мелком лесу, по оврагам, около лесных речек и ручьев. Говорят, что и во всякое время рябчики очень любят текущую воду и охотно слушают ее журчанье, сидя кругом на деревьях. Как скоро охотником или собакой будет поднята выводка молодых, уже несколько поматеревших, то они непременно рассядутся по деревьям весьма низко и так плотно прижмутся к главным толстым сучьям, так лежат неподвижно, что их разглядеть очень трудно, особенно на елях.

Рябчики никогда не бывают очень жирны; пища их состоит из почек всех древесных пород черного и красного леса: последние сообщают им особенный смолистый вкус; до всяких лесных ягод они большие охотники.

Весною, еще в марте месяце, рябчики самцы начинают *откликаться,* лететь, или *идти на пищик,* как говорят охотники. Я уже упоминал об этом нехитром инструменте, который издает звуки, похожие на голос или писк рябчиковой самки. Пищики делаются из липовых прутьев, толщиною в гусиное перо и длиною вершка в полтора, из которых до половины искусно вынимается деревянная внутренность и которых один конец обделывается наподобие тростниковой дудки; такие же пищики приготовляются из гусиных перьев, даже выливаются из олова. Некоторые добычливые стрелки умеют звать рябчиков собственным свистом. Стрельба начинается со второй половины марта: сначала на лыжах, а потом по насту. Эта охота продолжается до половины лета с тою разницею, что с весны рябчики самцы не только откликаются на искусственный голос самки, но и летят на него с большою горячностью, так что садятся по деревьям весьма близко от охотника, и бить их в это время очень легко; со второй половины мая до половины июля они откликаются охотно, но идут тупо; потом перестают совсем приближаться на голос самки, а только откликаются, и потому охотник должен отыскивать их уже с собакой. Осенью находят рябчиков, которые сначала держатся выводками, а потом парами, также посредством легавой собаки; в исходе октября и в ноябре они опять идут на пищик. Поднявшись с земли, рябчики сейчас садятся на деревья.

Тут необходимо острое зрение, чтоб разглядеть их, спрятавшихся в густой и темной зелени сосен и елей. У туземцев Пермской, Вятской и других лесных губерний способность эта развита в высшей степени, и я не один раз имел случай удивляться необыкновенной их зоркости. Рябчик к ружью не крепок: 6-й и 7-й нумера очень достаточны для их стрельбы, но простые охотники пермяки, вятичи и архангельцы бьют их обыкновенно мелкой и крупной утиной дробью из ружей очень узкоствольных и заряд кладут самый маленький; употребляют иногда даже чугунную дробь. Они стреляют рябчиков нередко из винтовок, которые так узки, что заряжаются пулечкой немного побольше одной дробины нуля или безымянки. Стреляют они мастерски и часто такою крошечною пулечкою простреливают голову рябчика; маленькие заряды употребляют они из экономии; звуки их выстрелов так слабы, что даже в самом близком расстоянии не сочтешь их за выстрелы, а разве за взрывы пистонов. Эти охотники и до сих пор употребляют ружья с кремнями и охотятся за рябчиками до половины зимы, употребляя лыжи, когда снег углубеет...

Белое мясо рябчиков, нежное, здоровое и хотя несколько сухое, но превосходное вкусом, известно всем; внутренность его и ножки несколько горьковаты, что особенно уважается гастрономами.

О Х О Т А

ПРОЛЕТ И ПРИЛЕТ ДИЧИ

Самое дорогое, поэтическое время для ружейного охотника — весна: пролет и прилет птицы!

Целую зиму поглядывал он с замирающим сердцем на висящие в покое ружья, особенно на любимое ружье. Не один раз, без всякой надобности, были вымыты стволы, перечищены и перемазаны замки.

Наконец проходит долгая, скучная буранная зима.

Февраль навалил сугробы снега: с утоптанной тропинки шагу нельзя ступить в сторону.

Правда, рано утром, и то уже в исходе марта, можно и без лыж ходить по насту, который иногда бывает так крепок, что скачи куда угодно хоть на тройке; можно подкрасться как-нибудь из-за деревьев к начинающему глухо токовать краснобровому косачу[1]; можно нечаянно наткнуться и взбудить чернохвостого русака[2] с ремнем пестрой крымской мерлушки по спине или чисто белого как снег беляка[3]: он еще не начал сереть, хотя уже волос лезет; можно на пищик[4] подозвать рябчика — и кусок свежей, неперемералой дичины может попасть к вам на стол...

Но ненадежны мартовские утренники, неверен путь по насту, особенно в красный день.

Как скоро обогреет хорошенько солнце — снежная кора распустится, *раскровеет*, как говорит народ, начнет садиться с глухим гулом, похожим на отдаленный пушечный выстрел, и не поднимет ноги человека: с каждым шагом будет он вязнуть по пояс в снежную громаду[5]. Беда отойти

---

[1] Косач — тетерев.

[2] Русак — разновидность зайца. Обитает преимущественно в полях, кустарниках, степях и кочкарных болотцах. Зимой — серебристо-серый, а летом — изжелта-буро-серой шерсти.

[3] Беляк — разновидность зайца. Обитает преимущественно в местах лесистых. Зимой совершенно белой, а летом буро-серой шерсти.

[4] Пищиком называется маленькая дудочка из гусиного пера или кожи с липового прутика, на котором издают ртом писк, похожий на голос самки рябца. *(Примеч. Аксакова.)*

[5] Кто хаживал по весеннему насту, тот, верно, заметил это явление: целые полины как будто охают и внезапно опускаются. Необыкновенный глухой гул, соединенный с содроганием всей поверхности той массы снега, на которой стоит человек, производит сильное и неприятное действие на нервы. Оно похоже на электрический толчок, чувствуемый цепью людей, когда извлекается искра из лейденской батареи. *(Примеч. Аксакова.)*

далеко от дороги — измучаешься, на одной версте пробьешься не один час. Охотиться же на лыжах очень утомительно: надобно иметь много ловкости, даже умения и большую привычку управлять лыжами на неровной местности.

Прибавились значительно дни. Ярче, прямее стали солнечные лучи и сильно пригревают в полдень. Потемнела полосами белая пелена снега, и почернели дороги. Вода показалась на улицах.

Уже март на исходе и апрель на дворе. Для страстного охотника, каким был я смолоду и какие, вероятно, никогда не переведутся на Руси, уже наступило время тревоги и ожидания.

Если весна не слишком поздняя, то прилетная птица начинает понемногу показываться.

Грачи, губители высоких старых дерев, красоты садов и парков, прилетели первые и заняли свои обыкновенные летние квартиры, самые лучшие березовые и осиновые рощи, поблизости к селению лежащие, для удобного доставания хлебного корма.

Уже начали заботливые хозяева оправлять свои старые гнезда новым материалом, ломая для того крепкими беловатыми носами верхние побеги древесных ветвей.

Далеко слышен их громкий, докучный крик, когда ввечеру, после дневных трудов, рассядутся они всем собором, всегда попарно, и как будто начнут совещаться о будущем житье-бытье.

Пора начинать ежедневные утренние и послеобеденные обходы гумен[1], овинов[2] и прудов с посиневшими токами, обсеянными кругом желтою мякиной.

Там прежде всего окажутся *клинтухи,* или собственно *дикие голуби.*

Сначала они появляются в весьма малом количестве: пара, две, много три; их можно встретить в стае галок или русских голубей, подбирающих зерна по гуменным дорожкам. С последними с первого взгляда их не различишь: вся разница состоит в том, что дикий голубь поменьше, постатнее русского; весь чистосизый, и ножки у него не красные, а бледно-бланжевого цвета.

Едва ли нужно объяснять, что название «русский», придаваемое птице, значит: дворовый, домашний.

---

[1] Гумно́ — площадка, на которой молотят хлеб.

[2] Ови́н — строение для сушки хлеба в снопах; рига.

Но если вы увидите издали голубей, сидящих на гуменном заборе или дереве,— это, без сомнения, *клинтухи,* то есть дикие голуби; подойдя ближе, вы удостоверитесь в том.

Голуби с прилета, как и вся птица, бывают чисты пером и жирны телом — обстоятельство, трудное для объяснения, ибо путь прилетной птицы длинен, а корм скуден. Впоследствии клинтухи потеряют ценность для охотника, застрелить же дикого голубя посреди зимы — дорогая добыча.

Но воздух становится теплее и влажнее. Апрель берет свое: везде лужи, везде бегут мутные ручьи, зачернели проталины, как грязные пятна на белой скатерти.

Обтаяли кругом родники, паточины, свежие навозные кучи и удобренная ими мельничная плотина. Около первых надобно стеречь появление малых дроздов, больших дроздов-рябинников, а около последних — чибисов или пигалиц, жаворонков, удодов и скворцов.

Уже материк реки, мало замерзающий выше пруда и зимою, прошел до самых последних грив камыша.

Холодно, неприязненно синеет глубина; но пора осматривать реку, как раз появятся *нырки* и *крохали*[1]. Скоро все это будет презрено и забыто, но вначале все драгоценно... таков человек не в одной ружейной охоте!..

Наконец наступает совершенная ростополь[2].

Юго-западный теплый ветер так и съедает снег, насыщенный дождем.

Много оттаяло земли, особенно по высоким местам, на полдневном солнечном пригреве. Картина переменилась: уже на черной скатерти полей кое-где виднеются белые пятна и полосы снежных сувоев[3] да лежит гребнем, с темною навозною верхушкой, крепко уезженная зимняя дорога. Посинели от воды, надулись овраги, взыграли и сошли. Переполнилась ими река, подняла в пруду лед, вышла из берегов и разлилась по низменным местам: наступила водополь, или водополье. Пар поднимается от земли: земля отходит, говорит крестьянин. На небе серо, в воздухе сыро и туманно.

---

[1] Нырки и крохали — породы диких уток.

[2] Ростополь — теперь принято писать и произносить: ростепель.

[3] Сувой — снежный сугроб.

Именно в такое-то сумрачное время наступает валовой, повсеместный пролет и даже прилет птицы не только по ночам, зарям, утренним и вечерним, но и в продолжение целого дня.

И прежде изредка, понемногу, показывались гуси и лебеди, больше по парочке, и высоко проносились в серых облаках: теперь они летят огромными вереницами.

Журавли появляются позднее, плывя в небесах раздвинутыми тупыми треугольниками, как будто корабли, построенные к бою.

Все породы уток стаями, одна за другою, летят беспрестанно: в день особенно ясный высоко, но во дни ненастные и туманные, предпочтительно по зарям, летят низко, так что ночью, не видя их, по свисту крыльев можно различить многие из пород утиных.

Нырки, чернь и свиязь чаще всех машут крыльями и быстрее рассекают воздух: шум от их полета сливается в один дребезжащий, пронзительный свист.

За ними следуют: широконоски, чирки, шилохвости и другие; наконец, серые и кряковные, полет которых как-то нетороплив, хотя силен и спор.

Стаи степных куликов (кроншнепов) и болотных (неттигелей), называемых в Оренбургской губернии веретинниками, и все разнообразные породы мелких куликов и курахтанов, каждая с своим особенным полетом, с своим писком и свистом, наполняют воздух разнородными, неопределенными и в другое время неслышными звуками.

Надобно заметить, что пролетающая птица не кричит своим обыкновенным голосом, а прилетающая и занимающая места, хотя бы и временно, сейчас начинает свой природный, обычный крик и свист.

Пролетная птица торопится без памяти, спешит без оглядки к своей цели, к местам обетованным, где надобно ей приняться за дело: вить гнезда и выводить детей; а прилетная летит ниже, медленнее, высматривает привольные места, как будто переговаривается между собою на своем языке, и вдруг, словно по общему согласию, опускается на землю.

Тут начинаются так называемые у охотников «высыпки» — слово весьма знаменательное, употребляемое только для выражения внезапного появления во множестве лучшей породы дичи: вальдшнепов, дупельшнепов, бекасов и гаршнепов.

Вчера проходили вы по болоту, или по размокшему берегу пруда, или

по лужам на прошлогодних ржанищах и яровищах[1], где насилу вытаскивали ноги из разбухшего чернозема, проходили с хорошею собакой и ничего не видали; но рано поутру, на другой день, находите и болото, и берега разливов, и полевые лужи, усыпанные дупелями, бекасами и гаршнепами; на лужах, в полях, бывает иногда соединение всех пород дичи — степной, болотной, водяной и даже лесной.

Итак, слово «высыпка» вполне выражает дело...

В это же время на оттаявших хлебных полях, залежах и степях появляются дрофы, стрепета и кречетки, или степные пигалицы. Озимые куры, или сивки (они же и ржанки), огромными стаями начинают виться под облаками так высоко, что не всегда разглядишь их простыми глазами; но зато очень хорошо услышишь их беспрестанный писк, состоящий из двух коротких нот: одна повыше, другая пониже. Множество певцов делает этот крик беспрерывным и сливающимся в один однообразный мотив, усладительный для уха охотника.

Навертевшись и наигравшись досыта на солнышке, в вышине, они с шумом опускаются на озими и проворно разбегаются по десятинам, отыскивая себе корм.

Степные кулики (кроншнепы) присоединяются к полевой птице несколько позднее и не такими большими стаями, в какие собираются при отлете. Они бродят по грязи, около луж, на вспаханных полях, где иногда вязнут по брюхо, несмотря на долгие свои ноги, и где длинными, кривыми носами, запуская их по самую голову, достают себе из размокшей земли хлебные зерна и всякого рода червей и козявок. Вальдшнепы прилетели уже давно. Никто не видывал, как, когда, в каком количестве прилетают они; но при появлении первых проталин в мелком лесу, на опушках большого леса, в парках и садах, в малиннике, крыжовнике и других ягодных кустарниках, особенно в кустах болотных, около родников, немедленно появляются вальдшнепы, иногда поодиночке, иногда вдруг большими высыпками.

В тех местах, где болот мало или они бывают залиты полою водою и стоят сплошными лужами, как большие озера,— дупели, бекасы и гаршнепы очень любят держаться большими высыпками на широко разлившихся весенних потоках с гор, которые, разбегаясь по отлогим долинам

---

[1] Ржанище и яровище — поле сжатой ржи и яровых хлебов: пшеницы, гречи и т. п.

или ровным скатам, едва перебираются по траве, отчего луговина размокает, как болото. Это бывает несколько позднее первого появления трех пород благородной дичи и продолжается не долее четырех или пяти дней.

Высыпки как появляются, так и пропадают внезапно. Мне случалось иногда попадать на них почти уже с расстрелянными зарядами. Съездив поспешно домой и наделав новых зарядов, возвращался я через несколько часов на высыпки — все пусто! Ни одной птички! Ни пера, как говорят охотники!

Наконец полая вода сливает, сохнут поля и луга, входят в берега реки, уменьшается птица.

Уже нет больших стай: пролетная — пролетела, прилетная разбирается парами и держится предпочтительно около тех мест, где замышляет вить гнезда. Одна холостая птица шатается где ни попало.

Жилые бекасы и дупели[1] занимают свои прежние, а иногда и новые болота и сейчас начинают токовать. Заблеял дикий барашек[2], кружась в голубой вышине весеннего воздуха, падая из-под небес крутыми дугами книзу и быстро поднимаясь вверх... весенняя стрельба с прилета кончилась!..

ЛОВЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ

Отец езжал иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов. Я просился несколько раз, но мать не позволяла. Я уже перестал проситься, и вдруг совершенно неожиданно мать отпустила меня один раз с отцом и Федором посмотреть на эту охоту.

Она мне очень понравилась: когда на тихий писк дудочки прибегали

---

[1] Жилые бека́сы и ду́пели — то есть те, которые возвращаются при прилете на одни и те же места.

[2] Так называет народ бекаса, потому что он, быстро и прямо опускаясь вниз, подгибает одно крыло, а другим машет так часто, что от сильного упора в воздухе происходит звук, подобный блеянию барашка. Это мнение охотничье и народное, но один почтенный профессор, почтивший мою книгу своими замечаниями, объясняет блеяние дикого барашка следующим образом: «Бекас, бросаясь стремительно вниз с распущенными крыльями, не производит ими никаких размахов. От сопротивления воздуха кончики маховых перьев (охотники называют их правильными) начинают сильно дрожать и производят означенный звук». *(Примеч. Аксакова.)*

перепела, подходили под разостланную на траве сеть, когда мы все трое вскакивали, а испуганная и взлетевшая перепелочка попадалась в сетку, я чувствовал сильное волнение.

Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. *Бить* в дудки заранее учил меня Федор, считавшийся в этом деле великим мастером, и я тотчас подумал, что я сам такой же мастер.

Я пристал к отцу и Федору с неотступными просьбами, и желание мое исполнили, но опыт доказал, что я вовсе не умею манить: на мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались.

Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на эту охоту.

ОХОТА НА ПЕРЕПЕЛОВ С ЯСТРЕБОМ

В Багрове каждый год производилась охота с ястребами за перепелками, которых все любили кушать и свежих и соленых.

В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся «садком», два ястреба, из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой — у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой, который, несмотря на то что до нашего приезда ежедневно посылался жать, не расставался со своим ястребом и вынашивал его по ночам.

Ястребами начали травить, и каждый день поздно вечером приносили множество жирных перепелок и коростелей.

Мне очень хотелось посмотреть эту охоту, но мать не пускала. Наконец отец сам поехал и взял меня с собой.

Охота мне очень понравилась, и по уверению моего отца, что в ней нет ничего опасного, и по его просьбам мать стала отпускать меня с Евсеичем.

Я очень скоро пристрастился к травле *ястребочком,* как говорил Евсеич, и в тот счастливый день, в который получал с утра позволение ехать на охоту, с живейшим нетерпением ожидал назначенного времени, то есть часов двух пополудни, когда Филипп или Мазан, выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке, с собственной своей собакой на веревочке (потому что у обоих собаки гонялись за перепелками) и скажет: «Пора, сударь, на охоту».

Роспуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле.

Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу, я любил все в охоте: как собака, почуяв след перепелки, начнет горячиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле; как, по мере того как она подбирается к птице, горячность ее час от часу увеличивается; как охотник, высоко подняв на правой руке ястреба, а левою рукою удерживая на сворке горячую собаку, подсвистывая, горячась сам, почти бежит за ней; как вдруг собака, иногда искривясь набок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте; как охотник кричит запальчиво «пиль, пиль» и наконец толкает собаку ногой; как, бог знает откуда, из-под самого носа с шумом и чоканьем вырывается перепелка — и уже догоняет ее с распущенными когтями жадный ястреб, и уже догнал, схватил, пронесся несколько сажен, и опускается с добычею в траву или жниву,— на это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием.

Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени и осторожно наклонясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распущенные крылья, начнет бережно отнимать у него перепелку; как потом полакомит ястреба оторванной головкой и снова пойдет за новой добычей.

Я любил смотреть, как охотник кормит своего ловца, как ястреб щиплет перья и пух, который пристает к его окровавленному носу, и как он отряхает, чистит его об рукавицу охотника; как ястреб сначала жадно глотает большие куски мяса и даже небольшие кости и наконец набивает свой зоб в целый кулак величиною.

В этой-то любви обнаруживался будущий охотник. Но, увы, как я ни старался выгодно описывать мою охоту матери и сестрице,— обе говорили, что это жалко и противно.

ЛОВЛЯ ПТИЦ

Я узнал новое деревенское удовольствие, которое мне очень полюбилось: Евсеич выучил меня крыть лучком птичек, в нашем саду и огороде было их очень много.

Маленький снежок покрывал уже землю; Евсеич расчистил точок и положил на него приваду из хлебной мякины и ухвостного конопляного семени.

Голодные птички очень обрадовались корму, которого доставать им уже было трудно, и дня в три привыкли летать на приваду. Тогда Евсеич поставил позади точка лучок, обтянутый сеткой, привязал к нему веревочку и протянул ее сквозь смородинный куст, за которым легко было притаиться одному человеку или даже двоим.

Когда птички привыкли к лучку, стали смело возле него садиться и клевать зерна, Евсеич привел меня осторожно к кусту, сквозь голые ветки которого было видно все, что делается на точке.

— Наклонись, соколик, и нишкни,— шепотом говорил Евсеич, присев на корточки.— Вот как налетят птички получше,— а теперь сидят всё бески да чечетки,— тогда ты возьми за веревочку, да и дерни. Птичек-то всех и накроет лучком, а мы с тобой хорошеньких-то выберем, да в клеточку и посадим.

Я готов был все исполнять; через несколько времени Евсеич сказал мне:

— Ну, бери веревочку, дергай!

Дрожа от радостного нетерпения, я дернул изо всей мочи, и мы, выскочив из-за куста, прибежали к лучку.

Я дернул неудачно, слишком сильно, так что лучок сорвался с места одним краем и покрыл только половину точка; но все-таки несколько птичек билось под сеткой, и мы, взяв пару щеглят, чижика и беленького бесочка, побежали домой с своей добычей.

Евсеич бежал так же, как и я. И вот чем был неоцененный человек Ефрем Евсеич: он во всякой охоте горячился не меньше меня!..

Я скоро выучился крыть хорошо; а как мне жалко было выпускать пойманных птичек, то я, кроме клеток, насажал их множество в пустой садок, обтянутый сеткою, находившийся в нескольких саженях от крыльца, где летом жили мои голуби, зимовавшие теперь по дворовым избам, в подпечках.

У меня сидели в садке белые, голубые и зеленые бески, или синицы, щеглята, чижи, овсянки и чечетки. Я поставил им водопойку, а когда вода замерзала, то клал снегу; поставил две небольшие березки, на которых птички сидели и ночевали, и навалил на пол всякого корма.

Смотреть в этот садок, любоваться живыми и быстрыми движениями миловидных птичек и наблюдать, как они едят, пьют и ссорятся между собой,— было для меня истинным наслаждением. Иногда, не довольно

тепло одетый, я не чувствовал холода наступающего ноября и готов был целый день простоять, прислонив лицо к опушенной инеем сетке, если б мать не присылала за мною или Евсеич не уводил насильно в горницу.

ЗАЯЦ

В Оренбургской губернии, да, кажется, и во всех других, зайцы водятся трех пород: русаки, беляки и тумаки. Я не причисляю к дичи земляного зайчика, или *тушканчика,* которого в пищу не употребляют. Имя русака происходит, вероятно, не от того, что он живет на Руси, а разве от того, что и зимою хребет спины остается у него серый, как будто русый. Беляк, очевидно, назван по совершенной белизне своей шерсти в зимнее время. Тумак, происходя от совокупления русака с беляком, получил имя, обличающее его происхождение: слово *тумак* значит помесь. Обыкновенное местопребывание русака и тумака — степь или безлесные горы, беляка — лес...

Наружность зайца известна всем, но он имеет в себе замечательную особенность: это устройство его задних ног, которые гораздо длиннее, толще, сильнее передних и снабжены необыкновенно эластическими, крепкими, сухими жилами. Отсюда происходит диковинная легкость прыжков, иногда имеющих в длину до трех аршин[1], и вообще чудная резвость заячьего бега. Присев на задние ноги, то есть сложив их на сгибе, упершись в какое-нибудь твердое основание, заяц имеет способность с такою быстротою и силою разогнуть их, что буквально бросает на воздух все свое тело; едва обопрется он о землю передними лапками, как уже задние, далеко перепрыгнув за передние, дают опять такой же толчок, и бег зайца кажется одною линией, вытянутою в воздухе. Без сомнения, быстроте прыжков много способствует крепость спинного хребта. Теперь понятно, что зайцу неловко бежать под гору и, наоборот, очень ловко — на гору или в гору. Первого он всегда избегает; но, вынужденный иногда к тому преследованьем врагов, преимущественно борзых со-

---

[1] Трехаршинную меру заячьих прыжков можно найти на всяком вабудном следе, но один известный охотник (А. С. Хомяков) сказывал мне, что русак на бегу перепрыгивает глубокие рытвины или расселины до семи аршин шириною. *(Примеч. Аксакова.)*

бак, он нередко скатывается кубарем с вершины до самой подошвы горы. Заяц не ходит, а только прыгает, он даже не может стоять вдруг на всех четырех ногах; как скоро он останавливается на своем бегу, то сейчас присядет на задние ноги, так они длинны. Он особенный мастер вдруг сесть на всем бегу, и охотники говорят, что заяц *са́док*. Надобно еще заметить, что шея у зайца не повертывается, и он не может оглянуться назад; услыхав какой-нибудь шум сзади или сбоку, он опирается на задние ноги, перекидывает всего себя в ту сторону, откуда послышался шум, садится на корточки, как сурок, и насторожит свои длинные уши. Зайцы положительно травоядные животные, хотя имеют очень острые зубы, которыми больно кусаются, если возьмут их в руки неловко: живого зайца должно всегда держать за уши и задние ноги. Когда есть трава, зайцы питаются ею, также древесными листьями, всякими хлебными посевами и особенно любят озимь. Зимою гложут они древесную кору, предпочтительно молодых осин и таловых кустов, а в степях — всякую травяную ветошь, разгребая для того своими лапками довольно большие снежные сугробы. Плодовитые сады могут жестоко пострадать от зайцев в продолжение зимы, если не будут взяты известные предохранительные меры. Заяц имеет особенный, жалобный крик, похожий на плач младенца. Он испускает его, будучи ранен и попав в когти, зубы или руки врага...

Заяц — самое робкое и беззащитное творение. Трусость видна во всех торопливых его движениях и утверждена русскою пословицею: *труслив, как заяц.*

Мне самому случалось видеть, как он дрожит, сидя в своем логове, слыша какой-нибудь приближающийся шум и готовясь вскочить каждую минуту.

Он по справедливости боится и зверя и птицы и только ночью или по утренним и вечерним зарям выходит из своего дневного убежища, *встает с логова.*

Ночь для него совершенно заменяет день; в продолжение ее он бегает, ест и *жирует,* то есть резвится, и вообще исполняет все требования природы; с рассветом он выбирает укромное местечко, ложится и с открытыми глазами, по особенному устройству своих коротких век, чутко дремлет до вечера, протянув по спине длинные уши и беспрестанно моргая своею мордочкой, опушенною редкими, но довольно длинными белыми усами.

В долгие осенние и зимние ночи заяц исходит, особенно по открытым полям и горам, несколько верст, что каждый охотник, *сходивший* русаков *по маликам,* изведал на опыте[1].

Русский народ называет зайца косым. Его глаза, большие, темные, навыкате,— не косы, это знает всякий; но, будучи пуглив и тороплив, не имея способности оглядываться, он набегает иногда прямо на охотника или на пенек, оторопев, круто бросается в другую сторону и опять на что-нибудь набегает.

Вероятно, вследствие таких неловких движений назвали его косым, и даже человека, пробежавшего второпях мимо того предмета, который он ищет, или забежавшего не туда, куда следует, приветствуют шуточным восклицанием: «Эх ты, косой заяц», или: «Куда забежал скосу?»

К тому же заяц, сидя на логове, закатывает под лоб иногда один глаз, иногда и оба; вероятно, это дремота, но при первом взгляде заяц покажется косым.

Зайцев истребляют все, кто может: волки, лисы, дворные и легавые собаки, которые сами собою ходят охотиться за ними в лес, даже горностаи и ласки, о чем я имел уже случай говорить.

Но, кроме врагов, бегающих по земле и отыскивающих чутьем свою добычу, такие же враги их летают и по воздуху: орлы, беркуты, большие ястреба готовы напасть на зайца, как скоро почему-нибудь он бывает принужден оставить днем свое потаенное убежище, свое *логово.* Если же это логово выбрано неудачно, не довольно закрыто травой или степным кустарником (разумеется, в чистых полях), то непременно и там увидит его зоркий до невероятности черный беркут (степной орел), огромнейший и сильнейший из всех хищных птиц, похожий на копну сена, почерневшую от дождя, когда сидит на стогу или на сурчине,— увидит и, зашумев как буря, упадет на бедного зайца внезапно из облаков, унесет в длинных и острых когтях на далекое расстояние и, опустясь на удобном месте, съест почти всего, с шерстью и мелкими костями.

Мало этого, даже ночью сторожат зайцев на мирных гулянках большие совы и филины[2].

---

[1] Сходить зайца по малику́ — термин охотничий и значит — отыскать его по следам. Вообще ружейные охотники держатся терминологии псовых охотников, чему и я последую. *(Примеч. Аксакова.)*

[2] Мне рассказывали охотники, что совы и филины ловят по ночам зайцев сле-

ОХОТА НА РУСАКА

Снег выпадал постепенно почти каждую ночь, и каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил сходить с ружьем по следу русаков и охотился иногда за ними; но, к сожалению, он не брал меня с собою, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать.

Зато, чтоб утешить меня, он приказал Танайчонку верхом объехать русака и взял меня с собою, чтоб при мне поймать зайца тенетами.

Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали к верховью пруда.

— Вон где лежит русак, Сережа! — сказал мой отец и указал на гриву желтого камыша, проросшую кустами и примыкавшую к крутцу[1]. — Русак побежит в гору, и потому все это место обметано тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну смотри же, что будут делать.

Народу было с нами человек двадцать; одни зашли сзади, а другие с боков и, таким образом подвигаясь вперед полукругом, принялись шуметь, кричать и хлестать холудинами[2] по камышу.

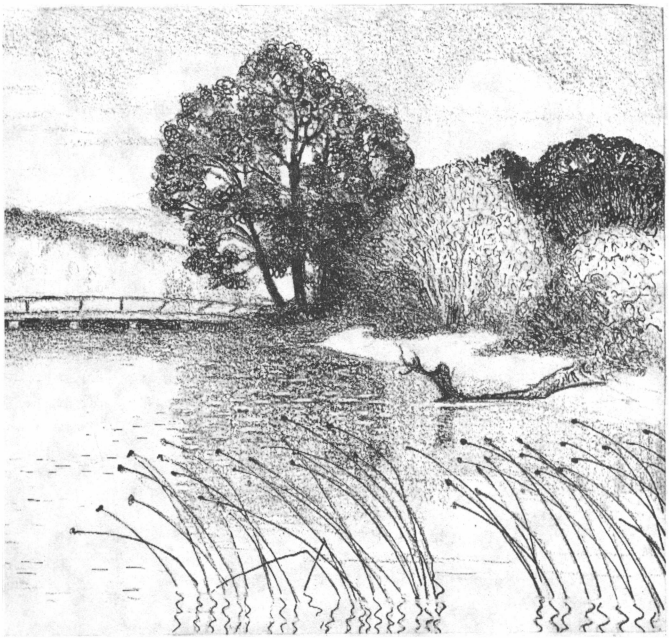
В одну минуту вылетел русак, как стрела покатил в гору, ударился в тенета, вынес их вперед на себе с сажень, увязил голову и лапки, запутался и завертелся в сетке. Люди кричали и бежали со всех ног к попавшему зайцу, я также кричал во всю мочь и бежал изо всех сил.

дующим образом: они подстерегают их на тропах; одною ногою сова вкогтится в зайца, другою ухватится за ветку куста или дерева и таким образом держит его до тех пор, пока он не выбьется из сил; тогда сова вкогтится в него и другою лапой и окончательно задушит. К этому прибавляют, что заяц отрывает иногда вкогтившуюся в него лапу (разумеется, в то время, когда сова другою лапою держится за куст), что охотникам случалось затравливать зайцев, на которых висела вкогтившаяся в тело, оторванная и уже высохшая лапка совы. Признаюсь, последнее обстоятельство я считал выдумкою; но тот же охотник и знаток этого дела, на которого я недавно ссылался (А. С. Хомяков), удостоверил меня, что это совершенно справедливо. То же подтверждает и другой стрелок — охотник Ю. Ф. Самарин. *(Примеч. Аксакова.)*

[1] Крутéц — обрывок веревки, гуж; здесь: сеть, плетенная из веревок, для ловли зайцев.

[2] Холудúна — жердь, длинная хворостина.

Что за красавец был этот старый матерой русак! Черные кончики ушей, черный хвостик, желтоватая грудь и передние ноги, и пестрый в завитках ремень по спине... я задыхался от восторга, сам не понимая его причины!..



УЖЕНЬЕ

УЖЕНЬЕ

Между тем как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межéнь[1], даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал все, потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба — язи, головни и лини.

Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтоб принесть по крайней мере пару больших язей, упустив столько же или больше, и вот у целого семейства была уха, жареное или пирог.

Евсеич уже давно удил и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не твое уженье. Теперь еще везде мокро и грязно, а вот недельки через две солнышко землю прогреет, земля повысохнет: к тем порам я тебе и удочки приготовлю».

Пришла пора и моего уженья, как предсказывал Евсеич. Теперь погода, простояв несколько дней, еще раз переменилась на сырую и холодную, что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце пригрело землю, высушило грязь и тину.

Евсеич приготовил мне три удочки: маленькую, среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы; такую я и сдержать бы не мог.

Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть, потому, что матери это было неприятно, пошел со мною и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем.

Я видел, что мой отец сбирался удить с большой охотой.

— Ну, что теперь делать, Сережа, на реке? — говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним.— Кивацкий пруд пронесло, и его не скоро запрудят; рыбы теперь в саду мало. А вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу, и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане; пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже.

Я уверял, что в Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки

---

[1] Межéнь — средний уровень воды в реке.

удочки, и хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями — прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы,— что я почти забывал об уженье, но тогда, уже успокоенный от волнений, пресыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку.

Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшейся от солнца, но еще не высохшей внутри; везде валялись жерди, сучья и коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей.

Прежде всего это было затоплено и представляло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых рамах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были неприметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива и, волнуемые ветром, еще неприятнее, как-то безжизненно шумели.

Надобно прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление.

Выбрав места посуше, неподалеку от кауза, стали мы удить — и вполне оправдались слова отца: беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средней величины язи и большие лини.

Крупная рыба попадалась все отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски, а я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком.

Я никогда не видел, чтоб отец мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день? Евсеич же, горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком *азарте*! Азарт этот еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще огромнейшего линя, а у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок щука оторвала удочку.

Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу.

Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее, и хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок.

Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой; но отец и Евсеич и не думали возвращаться и, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда.

Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал:

— Что бы вам, Алексей Степаныч, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!

Отец отвечал с некоторою досадой:

— Ну, как мне поутру.

— Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в старые годы хаживали.

Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел.

Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к бабушке и тетушке Татьяне Степановне и только что приехавшей тетушке Аксинье Степановне. Они неравнодушно приняли наш улов: они ахали, разглядывали и хвалили рыбу, которую очень любили кушать, а Татьяна Степановна — удить; но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее воняет сыростью и гнилью; она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовою тиной, что, может быть, и в самом деле было так.

* *
*

Уженье, как и другие охоты, бывает и простою склонностью и даже сильною страстью: здесь не место и бесполезно рассуждать об этом. Русская пословица говорит глубоко и верно, что *охота пуще неволи.* Но едва ли на какую-нибудь человеческую охоту так много и с таким презреньем нападают, как на тихое, невинное уженье. Один называет его охотою празднолюбцев и лентяев; другой — забавою стариков и детей; третий — занятием слабоумных. Самый снисходительный из судей пожимает плечами и с сожалением говорит: «Я понимаю охоту с ружьем, с борзыми собаками — там много движения, ловкости, там есть какая-то жизнь, что-то деятельное, даже воинственное. О страсти к картам я уже

не говорю; но удить рыбу — признаюсь, этой страсти я не понимаю...» Улыбка договаривает, что это просто глупо. Так говорят не только люди, которые, по несчастию, родились и выросли безвыездно в городе, под влиянием искусственных понятий и направлений, никогда не живали в деревне, никогда не слыхивали о простых склонностях сельских жителей и почти не имеют никакого понятия об охотах; нет, так говорят сами охотники — только до других родов охоты. Последних я решительно не понимаю. Все охоты: с ружьем, с собаками, ястребами, соколами, с тенетами за зверьми, с неводами, сетьми и удочкой за рыбою — все имеют одно основание. Все разнородные охотники должны понимать друг друга: ибо охота, сближая их с природою, должна сближать между собою.

Чувство природы врожденно нам, от грубого дикаря до самого образованного человека. Противоестественное воспитание, насильственные понятия, ложное направление, ложная жизнь — все это вместе стремится заглушить мощный голос природы и часто заглушает или дает искаженное развитие этому чувству. Конечно, не найдется почти ни одного человека, который был бы совершенно равнодушен к так называемым красотам природы, то есть: к прекрасному местоположению, живописному далекому виду, великолепному восходу или закату солнца, к светлой месячной ночи; но это еще не любовь к природе; это любовь к ландшафту, декорациям, к призматическим преломлениям света; это могут любить люди самые черствые, сухие, в которых никогда не зарождалось или совсем заглохло всякое поэтическое чувство: зато их любовь этим и оканчивается...

Но, бог с ними! Деревня, не подмосковная, далекая деревня,— в ней только можно чувствовать полную, не оскорбленную людьми жизнь природы. Деревня, мир, тишина, спокойствие! Безыскусственность жизни, простота отношений! Туда бежать от праздности, пустоты и недостатка интересов; туда же бежать от неугомонной, внешней деятельности, мелочных, своекорыстных хлопот, бесплодных, бесполезных, хотя и добросовестных мыслей, забот и попечений! На зеленом, цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, на котором колеблются или неподвижно лежат наплавки ваши,— улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды! Природа вступит в вечные права свои, вы услышите ее голос, заглушенный

на время суетней, хлопотней, смехом, криком и всею пошлостью человеческой речи! Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе.

О ВЫБОРЕ МЕСТА

Если вы случайно заедете или постоянно живете на такой местности, где на реке есть мельница и пруд,— спешите туда: там найдете вы самое разнообразное уженье и приволье в выборе места, о чем я буду говорить ниже. Я должен признаться, что пристрастен к запруженной реке. Вид пруда и мельницы, стук ее снастей, шум падающей воды — приводят в тихое и сладкое волнение душу старого рыбака. Чем-то дорогим прошедшим глядят воды и водяные травы, шумят вертящиеся колеса, дрожит мельничный амбар и пенятся кипящие под ним волны! Кустами обросшая плотина, дорожки, протоптанные прохожими, помольцами и хозяевами, переходы через воду из жердочек — все говорит о чем-то давно знакомом, близком сердцу. Где мельница — там и рыба. Пруд — ее притон и гульбище! Там много всякой пищи, там привольно метать икру и выводиться маленькой рыбешке. Около мельницы во все времена года, во всякую пору дня охотник найдет и достанет рыбу. В раннюю весну, в позднюю осень, в дурную погоду — она держится больше в материке, в верховьях пруда; в теплое время, в летние жары — она гуляет по полоям, в травах и камышах; в холодное ненастье — жмется по течению материка к теплой навозной плотине; но особенно любит она держаться в ямах, под спусками вешняка или под водяными колесами. Напрасно низвергающийся поток относит назад стаи мелких рыбок, они сторонкой беспрестанно возвращаются на самую быстрину, и хищные породы рыб хватают мелюзгу, обессиленную борьбою с стремлением воды. Рыбак вскарабкается на мокрый лежень, на котором тяжело ходит мельничный вал, и под навесом водяных труб, обросших зеленым мохом, под каплями и нитями просачивающейся воды, вздрагивая на своем месте при каждом обороте колеса, бросает удочку, насаженную червяком или всего лучше рыбкой, в самую быстрину, в волны и пену — и таскает жадных окуней и небольших щук... Но сказав о мельнице как о выгодном месте в частности, обращаюсь к выбору мест для уженья вообще.

Выбор мест бывает различен не только по времени года, но и по времени дня. Весною, пока вода еще несколько мутна, рыба бродит зря, как говорят охотники, и клюет везде на всех глубинах, ибо берега рек еще не определились, не заросли по местам густою осокой, аиром или камышом; еще не поднялись со дна водяные травы, не всплыли лопухи; береговые деревья и кусты не оделись листьями, не покрыли прозрачные воды тенью зеленого навеса, маня рыбу пищею во всякое время и прохладою в полдень.

При раннем весеннем уженье, которое может иногда начинаться в исходе апреля, когда в реках еще много воды и они бегут быстрее обыкновенного, надобно грузило прибавить, чтобы крючок опускался как можно глубже, потому что удить приходится внатяжку, то есть леса стремлением воды будет натягиваться и крючок не будет касаться дна, а это весной необходимо. Рыба жмется обыкновенно ко дну, к берегам, особенно крутым, где течение потише. Места надобно выбирать не мелкие и не слишком глубокие; крючок с насадкой червя навозного или земляного (на хлеб удить на быстряках неудобно) от сильного течения будет прибивать к берегу, и потому должно так класть или втыкать удилище, чтобы насадка только касалась берега и чтоб леса и наплавок не ложились на нёго; в противном случае они станут при подсечке задевать за берег, а это никуда не годится: рыба, хватая играющую насадку с набега, сейчас встретит упор от задевшей лесы или наплавка и сейчас бросит крючок, да и подсечка никогда не может быть верна, ибо рука охотника встретит такое же препятствие, и подсечка не может сообщиться мгновенно крючку. Когда вода еще не совсем слила и не просветлела, трудно достать раков, насекомых еще никаких нет, и потому единственная насадка — черви; но как скоро река войдет в *межень* и образуются тихие места, то на них всякая нехищная рыба очень охотно станет брать на хлеб.

В реках не запруженных, текущих вольно, собственною массою воды, обыкновенно выбирают для уженья *омуты,* то есть глубокие места, где вода вдруг теряет свою быстроту, падая в яму; потом, завертывая назад около берега, она встречается с верхнею текучею струею, борется с нею и, наконец, теряет свое стремление: из этой борьбы образуется тишина; в таких тихих омутах постоянно держится рыба.

Летом надо выбирать глубину умеренную, дно песчаное или хрящеватое (то есть состоящее из мелких камешков), идущее от берега покато и

отлого в глубину; на таких местах хорошо удить рано утром и поздно вечером. Еще лучше, если вода аршина на два от берега проросла травою и накрылась ее листьями, как бы зеленым ковром. Тут много выгод для охотника. Тут есть для рыбы и пища и защита от яркого солнца, а главное, тут не видно рыбака, сидящего на берегу, и ловко ему положить свои длинные удилища на травянистую ткань. Глубокие места, обросшие круглыми, как тарелки, зелеными лопухами, представляют те же выгоды. Места, где деревья зелеными ветвями своими наклонились над водою, где гибкие кусты омывают длинные листья свои в прозрачных струях, тихо ропщущих от их прикосновения, благонадежны для уженья не очень раннего и не очень позднего: ибо в это время рыба, уже поднявшись со дна, ходит на умеренной глубине и очень любит держаться около зелени листьев. Охотники хорошо это знают и на реках и озерах, берега которых совершенно голы, прибегают к хитрости, устраивают искусственную зелень: срубают вершину какого-нибудь молодого дерева (если оно мало, то два и три) или целый куст тальнику, вербы, выбирают удобное для уженья место и кладут их на воду, погрузив до половины и воткнув нижние, заострённые концы в берег. Мелкая рыба не замедлит броситься к зеленым листьям, а за ней придет и крупная. Дни в два рыба привыкнет держаться около кустов, которые впоследствии, когда листья поблекнут, можно переменять по ночам. Так же поступают и на больших реках, где удят с лодки, привязав к ней связку вершин древесных или куст. Если место не так глубоко, то лодка стоит на *приколе,* то есть привязанная к длинному колу, воткнутому во дно; если же глубоко, то лодка держится на веревке с камнем, опущенным на дно.

Осенью для уженья крупной рыбы по утрам и вечерам надобно выбирать самые глубокие места; но около полудня рыба уже не прячется от солнечного зноя, как летом, под траву, кусты, тень нависших берегов и даже тень мостов; напротив, обрадовавшись теплоте солнечных лучей, она стаями выплывает на поверхность воды, хватает падающие на нее увядающие листья и всяких насекомых. Тут надобно удить как можно мельче и предпочтительно на всяких насекомых.

Есть осеннее уженье «на́хлыстом», как выражаются рыбаки, которого мне не довелось испытать, но которое, говорят, бывает очень удачно. Оно особенно выгодно и приятно потому, что в это время другими способами уженья трудно добывать хорошую рыбу; оно производится следующим образом: в маленькую рыбачью лодку садятся двое; плывя по течению

реки, один тихо правит веслом, держа лодку в расстоянии двух-трех сажен от берега, другой беспрестанно закидывает и вынимает наплавную удочку с длинной лесой, насаженную червяком, кобылкой (если они еще не пропали) или мелкой рыбкой; крючок бросается к берегу, к траве, под кусты и наклонившиеся деревья, где вода тиха и засорена падающими сухими листьями: к ним обыкновенно поднимается всякая рыба, иногда довольно крупная, и хватает насадку на ходу. Вероятно, вместе с сухими листьями падают в воду какие-нибудь насекомые, и потому падение листьев привлекает рыб. Я много раз сам наблюдал, как хватает рыба упавшие листья и уносит вглубь: некоторые листочки всплывают, а другие пропадают; может быть, рыба глотает те из них, которые еще зелены. В тихое время и на тихой воде, в верховьях прудов, где материк стоит наравне с берегами, обросшими лесом, листья застилают воду иногда так густо, что трудно закинуть удочку, и если грузило легко, то крючок с насадкой будет лежать на листьях; разумеется, надобно добиться, чтобы крючок опустился и наплавок встал; удить надобно всячески, то есть и очень мелко и глубоко, потому что рыба иногда берет очень высоко, под самыми листьями, а иногда со дна. Это уженье имеет одну невыгодную сторону: в листьях трудно разглядеть наплавок; но зато рыба охотно и смело берет под лиственным покрывалом, и прозрачность осенней воды в этом случае помогает успешному уженью, ибо рыба издалека видит упавшую в воду насадку, а человека не видит. Берут по большей части окуни, средние головли, язи и крупные ельцы. Впрочем, может взять и всякая рыба.

Приятность этого уженья состоит в том, что оно спокойно и что в позднее осеннее время нельзя в других местах выудить никакой порядочной рыбы, кроме хищной; а из-под листьев мне случалось выуживать хороших язей, головлей и очень крупную плотву: последняя брала на хлеб, а первые — на крупных земляных червей.

Во всякое время года выгодны для уженья *перекаты* (мелкие места реки), устья впадающих речек и ручьев, ямы, выбитые падением воды под мельничными колесами и вешняками. Перекаты — проходное место рыбы, переплывающей из одного омута в другой, скатывающейся вниз, когда вода идет на убыль, и стремящейся вверх, когда вода прибывает; перекаты всегда быстры, следовательно, удить надобно со дна и с тяже-

лыми грузилами. Течение воды будет тащить и шевелить насадку на крючке, и проходящая рыба станет хватать ее.

При устьях впадающих речек и ручьев всегда держится мелкая рыбешка, а около нее держатся все породы хищных рыб: щуки, жерихи, судаки, окуни и даже головли, которые несмотря на свою нехищную, повидимому, породу очень охотно глотают маленьких рыбок. В глубоких ямах, выбиваемых паденьем полой воды под вешняками или скрынями, всегда водится много крупной рыбы. Под шумом воды, падающей с мельничных колес, также всегда стоит рыба, хотя и не так крупная.

Из всего этого не следует заключать, что только в местах, мною исчисленных, должна клевать рыба. Где есть вода, там она может плавать, следовательно, и брать на удочку. Рыба пользуется этой свободой, и нередко клев ее бывает так прихотлив, что приводит в недоумение опытного рыбака.

До сих пор мы говорили о реках. О выборе мест в небольших речках и ручьях, где ловится на удочку форель (пеструшка), кутема и лох, нечего сказать особенного: такие места, то есть небольшие омуточки или ямки, переменяются беспрестанно... Выбор мест для уженья в проточных прудах, заросших травою и камышами, имеет свои особенности. Уженье в их материке (материком называется русло настоящей реки) есть уженье речное. Тут нет выбора мест, зависящего от положения берегов, ибо вода затопила их и стоит выше земной поверхности на аршин, иногда и более; тут надобно знать положение дна, заметив его при спуске полой воды или, если этот пруд вам незнаком, ощупав дно рыбачьим лотом. (Лотом называется маленькая гиря или большая свинцовая пуля, привязанная на длинный шнурок.) Отлогое дно, идущее от берега в глубину, твердое, не заросшее травою, не имеющее задевов, без сомнения есть самое лучшее место; но здесь уженье производится уж с лодки или с нарочно устроенных для того мостков или плота. Для уженья в *полоях*, то есть в разливе пруда, проросшего травой и камышами, как это особенно бывает в губерниях черноземных, надобно выбирать местечки поглубже, не заросшие травой или камышом. Летом вся рыба бросается туда и полои делаются единственным и обильнейшим местом для уженья, о чем мы поговорим по-

дробнее в своем месте. В озерах, если берега их обросли травою и кустами, выбор мест для ловли удочкой во многом сходен с выбором мест в реке. В копаном пруде берега и дно везде одинаковы, и потому можно удить где угодно. Впрочем, всегда надобно соображаться с привычками самой рыбы: где она больше держится, там и удить. Опыт — лучший указатель в этом деле.

Места для уженья получают особенные достоинства от прикормки.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Пахомов. С. Т. Аксаков — певец природы 5

ЗИМА

Буран 12
Очерк зимнего дня 17
Переезд через Волгу зимой 20
Подвиг матери 21

ВЕСНА

Спуск пруда 26
Вскрытие рек 27
Водополье 29
Пробуждение природы 30
Приход весны, пение варакушки и соловьев 35
Весенний сев 37

ЛЕТО

Начало лета 42
Сенокос . . . . . —
Первые уроки естественной истории 45
Переезд через Каму в грозу 46
Гроза 49
Полевая клубника 52
Грузди 53
Замечания и наблюдения охотника брать грибы . . . 55
Знойный полдень 62
Рыбки гуляют и плещутся 63

ОСЕНЬ

Переезд через Волгу осенью 66
Осень 69

ВОДА

Вода 74
Лебедь 82
Гусь 83

БОЛОТА

Болота 86
Бекас 90

СТЕПЬ

Степь 94

ЛЕС

Лес 102
Голубь 108
Тетерев 109
Рябчик 111

ОХОТА

Пролет и прилет дичи 116
Ловля перепелов 121
Охота на перепелов с ястребом 122
Ловля птиц 123
Заяц 125
Охота на русака 128

УЖЕНЬЕ

Уженье 132
О выборе места 136

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Аксаков Сергей Тимофеевич

РАССКАЗЫ О РОДНОЙ ПРИРОДЕ

ИБ № 6691

Ответственный редактор *Г. Н. Гусева*. Художественный редактор *А. Б. Сапрыгина*. Технический редактор *Л. С. Стёпина*. Корректоры *Э. Л. Лофенфельд* и *Т. Н. Чернова*. Подписано к печати с готовых диапозитивов 10.12.84. Формат $70\times90^1/_{16}$. Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,53. Усл. кр.-отт. 10,89. Уч.-изд. л. 8,31. Тираж 200 000 экз. Заказ № 107. Цена 50 коп. Ордонов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Аксаков С. Т.

А41 Рассказы о родной природе/Составление, вступительная статья и примечания Н. П. Пахомова; Рис. Г. Никольского.— Переизд.— М.: Дет. лит., 1985.— 143 с., ил.— (Школьная б-ка).

50 коп.

В книге десять разделов: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Вода», «Болота», «Степь», «Лес», «Охота», «Уженье».

$А\frac{4803010101-040}{М101(03)85}090-85$ Р1